

Б 48

БЕРГСТЕД, Г.

АЛЕКСАНДЕР
СЕН.

1923

НОВОСТИ
РАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГАРАЛЬД БЕРГСТЕДТ

АЛЕКСАНДЕРСЕН

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



ГАРАЛЬД БЕРГСТЕДТ

HARALD BERGSTEDT

Б-48

АЛЕКСАНДЕРСЕН

ПЕРЕВОД А. ГАНЗЕН



W

М

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МСМХХІІІ—МОСКВА

АЛЕКСАНДЕРСЕН

ALEKSANDERSEN

СТРАНСТВИЯ ПИЛИГРИМА

1919

Гиз № 4489.

Главлит № 9591. Москва.

Отпеч. 5150 экз.

1-я тип. МСНХ. „Печатное Искусство“. Арендаторы С. Я. Цузер и инж. С. Г. Гликин.
Маросейка, Армянский пер., д. № 6.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гаральд Бергстедт дебютировал в датской литературе в 1913 г. сборником стихотворений „Провинциальные песни“. В 1915 г. вышел второй сборник под тем же заглавием. Оба были отмечены критикой, как плоды весьма оригинального таланта, выдвинувшие автора в первые ряды начинающих поэтов.

В 1916 г. вышел роман в стихах „Ганс и Эльза“, в котором автор, по отзывам критики, местами возвышается до истинного трагизма, местами увлекает читателя своею глубокою задумчивою грустью, а местами дразнит и разжигает остроумными шутками и ядовитой иронией. Отличающая роман „смесь высокого и низкого, улыбки и слез“, — по заключению одного из серьезнейших литературно-художественных критиков Дании Кая Гофмана, — роднит творчество Бергстедта с творчеством знаменитого шведского „певца народного горя и народной радости“ Бельмана. А тонкий стилист-беллетрист и критик Свен Леопольд говорит, что в этом романе Бергстедт дал целую галерею великолепных портретов — пасторов, причетников, миссионеров и провинциальных богачей — которые со временем станут классическими типами нашего времени.

В 1917 г. Бергстедт издал стихотворную одноактную „комедию-сказку“ „Чорт забрался в городок“, — веселую, жизнерадостную и остроумную, высмеивающую провинциальную отсталость, узость и манерность.

В том же году вышла Комедия провинциальной жизни — „Великий день Петера Гормсена“, в 4-х действиях, а в 1918 г. первое крупное беллетристическое произведение Бергстедта — „Александерсен“, которым Бергстедт, по выражению присяжного критика „Politiken“, „распахнул своему творчеству тяжелые ворота в мировую литературу“. По отзывам лучших представителей датской литературно художественной критики, эта книга — нечто совершенно особое, оригинальное. В некоторых главах автор подымается до высот литературного гения, но местами опускается и до грубого шаржа. Вообще же творчество Бергстедта брызжет избытком, дерзостью молодых сил, какою-то детскою, непосредственною мудростью и одновременно почти стариковским юмором.

А. Ганзен.

КНИГА ПЕРВАЯ

Герой мне нужен для моей истории!
Не дашь ли мне какого, Байрон, ты?
Ведь без героя жизнь — настой цикория;
и сладко: на базаре суеты
рыть землю носом пред героем в «глории»,
пред воплощением мощи, красоты,
нам — жалким червякам земного праха,
спящим и рабам почтительного страха!

Юнец, с осанкой храбро-горделивой,
к чему, скажи, твой молодой задор?
Почтенный буржуа! С чего кичливо
ты пыжишься и затеваешь спор?
Без идолов вам пусто, сиротливо,
вы — чьи-нибудь рабы всегда, с древнейших пор.
И одержимы все мы страстью благородной
пред кем-нибудь на брюхе ползать всенародно.

Спроси-ка, скандинав-гордец, свои колени,
спросите вы, смиренные душой,

у спин своих, согбенных от молений:
блаженство выше знали род земной,
чем прах лизать, лбом колотить ступени?..
Подайте ж мне героя! Нужен мне герой!
Необходим! Я рад бы взять чужого,
найти бы лишь свободного, да нет такого.

Ллойд-Джордж, колени преклонив, молитву
твердит,—вкруг богомольца льется кровь.
Вильгельм, полки свои бросая в битву,
зовет на помощь небо вновь и вновь,
а на земле смерть, косу отточив, как бритву,
нас—поросль мелкую—сбривает, хмурия бровь.
И тонет в дымном облаке алтарный камень,
героя из героев пожирает пламень.

Ну, словом, нет героев не при деле,
у каждого своя беда, свой труд.
И царь, и князь, и вождь—к своей идут все цели.
Героям церкви тоже дан маршрут—
на фронт. Мир христиан весь в огненной купели,
кровавым морем стал в Европе каждый пруд.
И вот, хвалы Христу поют все бивуаки,
и кровью христиан заполнены клоаки.

Язычники—те заняты давно:
стадами их грузят на корабли,
и гибнут без числа они бесславно—славно.
За что?—Когда бы знать они могли!
Каникулы смакуют пренесправно

миссионеры лишь из всех сынов земли
и, в кофе сладкую макая пышку,
благодарят Христа за передышку.

Остановиться на миссионере?
Его в герои взять?—О, нет, о, нет!
Ему не подойдет ни в коей мере
та жизнь тревог, лишений всяких, бед,
в какую распахну герою двери:
ни сна, ни гардероба, ни монет!..
Не надо трогать нам слугу господня,
пусть, как вчера, спит с миром и сегодня.

Героя нет мне в центре стран сожженных,
звериным ревом пушек, свистом пуль
и криками героев оглушенных!
Так круто я повертываю руль.—
Глушь... скот на улицах пасется полусонных...
в коморке шьет портной... Он—круглый нуль...
Эй! мнишь ты просидеть тут до скончанья века?
Нет, из тебя как раз создам я человека.

Ты слышишь, не нашел другого я героя,
так стань им. Александерсен портной!
Покинь свой кров и житие в покое,—
здесь, на страницах, путь начертан твой.
Смущен ты, вижу, «в перети гость»?—Пустре!
Воспрянь на радость нам! Послушай воли прибой!
Веселый час! Суда взрываются на минах,
дрожит земля и—мухи пляшут на гардинах!

Читатель! Дай свое благословенье
герою в путь, не щурь с презреньем глаз.
Нет в нем того развития, без сомненья,
что стражами эпохи ставит нас,
и в старину одно его происхождение
меня заставило сказать бы сразу: пас.
Но время небывалое: иные
герои заняты,—так годны и портные.

ПОРТНОЙ

В далекой глуши, в маленьком городе на острове,
сидит на верстаке Александерсен, не подозревая о своей
грядущей судьбе, и с горечью прислушивается.

Мимо, по заросшей травой улице, плетется босоно-
гий парень, поцелкивая кнутом вслед разбредающим
коровам и горланя последнюю городскую новинку, улич-
ную песенку, прямо в окошко Александерсену:

Кто же: сапожник
или портной?
Кто же: портной
или сапожник?..

Александерсен готов вскочить, но у соседки напро-
тив одна половинка двери приотворяется, и бойкая
прачка, стоя у своего медного котла, подхватывает:

Кто же: сапожник
или портной?..

А с высоты лесов на углу улицы откликается
каменьщик;

Кто же: портной
или сапожник?..

Серые глаза Александерсена мечут искры. Песенка эта пасквильная, сложена Горбуном по поводу последнего Общего собрания, на котором городской Дон-Жуан, сапожник—сапожник-Танцор или просто Танцор ¹⁾ — неожиданно скovyрнул начитанного Александерсена, с миром занимавшего в Городском Собрании председательское кресло целых двадцать лет.

Ах, это жалкое поколение!

Двадцать лет Александерсен, олицетворявший высшую городскую интеллигенцию, неустанно трудился для поднятия духовного уровня своего родного городка. Он обогатил библиотеку «Городского Собрания» остроумными романами княгини Катт и пламенными, берущими приступом небо стихами самого Леона Ахиллеса... Все ни к чему, все напрасно!.. И вдобавок быть низвергнутым таким человеком, как Танцор с его сворой плясунов!..

А Горбун?!

Одна из строф его песенки звучала так:

Долго ль терпеть молодежи тирана?
Сбросить портного давно уж пора.
Эй! убирайся скорей, долговязый!
Будет вождем нам сапожник, ура!

Кто же: сапожник
или портной?
Кто же: портной
или сапожник?

¹⁾ В оригинале: Polkaskomaren (т. е. сапожник-полькист) и Polkamanden (т. е. полькист).

Весь городок взбаломучен. Партия Александерсена, мечтая о восстановлении, объявила на завтра Чрезвычайное Общее собрание. Но кто сторонники Александерсена? Старые хрычи, что засыпают на докладах,—если не перекидываются в это время в картишки в буфетной... А уж книг они никогда не читают. Они только терпеть не могут сапожника за то, что он хочет играть роль.

А всех старух из городской богадельни Танцор перетянул на свою сторону рассказами о том, что Леон Ахиллес со своей Мариорджией, знаменитой певицей, живет без венца. Зато обитательницы «Вдовьего Дома» склонны были поддержать Александерсена: у него никогда не было никаких «историй», и он еженедельно навещал в Доме одну столетнюю даму, матеку своей бабушки.

Весь город судит и рядит об Леоне Ахиллесе и Мариорджии. Новые заправила Городского Собрания первым делом удалили из залы портрет Леона Ахиллеса и, выколов ему глаза и намалевав бакенбарды и очки, швырнули прямо в мастерскую Александерсена, где обожженный гений и остался в углу за печкой, рядом со старой детской люлькой самого Александерсена.

В то же время городская молодежь стала бойкотировать портного. А так как шил Александерсен по преимуществу брюки, штаны, то ему и мало было проку от поддержки старух из «Вдовьего Дома»,—те по этой части привыкли сами себя обшивать.

Но Александерсен стиснул зубы. Он твердо решил одолеть Танцора, вся программа которого исчерпывалась возобновлением плетейских балов и оргий, изгнанных из Собрания Александерсеном.

Завтра вечером битва будет дана.

Сейчас, хотя всего два часа дня, уже темно от туч и дождя. На крыше, около трубы, за ветром, приютился запоздавший осенний скворец и насвистывает... Грушевые деревья так и треплются от ветра, черные, голые.

Только что проходил мимо ближайший помощник Александерсена, звонарь, направляясь на колокольню звонить к похоронам. Остановился под окном и как-то промямлил, что, пожалуй, и время «им, старикам», уступить место «молодым силам».

Александерсен гневно фыркнул.

Уступить! Этакая слабость, глупость! Но таковы они, эти бараны! Ни на что не годны! Ничего не хотят, ни на что сами не считают себя способными. Александерсену вспоминается «Гимн восходящему солнцу» Леона Ахиллеса, эти буйные, восторженные строфы. Вот как пылает настоящее сердце, вот как дышит настоящая душа человеческая. А тут...?! О—!..

— — —
Тучи все ступают; горькая досада колет—стежок за стежком—кипучее сердце Александерсена.

Без сна провалился он эту ночь, уставясь на звезды. Высоко сверкают они над бурным воздушным морем с праздничными берегами. А тут, внизу, в этой тесной щелке, где ничего не случается настоящего, топчется он—пожизненно осужденный «вертеть мельницу» жизни.

«Им, старикам»?..

Утром его сильная в библии и кислая, озлобленная ключница Торбина пришла показать ему свое треснувшее зеркало.

Александерсен никогда не занимался собой; у него даже не водилось зеркала, и он не видал себя в зеркале с самой конфирмации. С немым испугом воззрился он в треснувшее стекло: увы! пятидесятилетний старый холостяк! Глубокие борозды около носа и рта... почти седые волосы, зачесанный кверху вихор... реденькая борода с проседью...

Старый холостяк... да, старый холостяк!.. Но глаза сверкали живым огнем, ноздри раздувались. Губы—сухие, поблекшие, бескровные... но властно, решительно сглатывали!

...«Им, старикам»!..

В этой комнате он родился. В углу еще стояла его детская люлька. В этой комнате сидел он постоянно, кроил и шил тут изо дня в день, из года в год, с грехом пополам обслуживаемый Торбиной, родственницей, которую ему пришлось взять на свое попечение, но на которой он все еще не мог заставить себя жениться,—той самой Торбиной, у которой хранился большой кофейник с надписью: «Я—гость в персти».

Звонят...

Это похоронный звон!

Звонят по Симсене, соседу его с детства, шкипере,

одном из сторонников сапожника, умершем на-днях в пивной.

А ведь он был моложе Александерсена. Малышом не раз падал он на площади со своим ведром сливок, и Александерсен подымал его, обтирал ему глазенки, утешал его.

Теперь Александерсен сам упал—по своему, и Симсен помогал свалить его.

— Динь-дон... динь-дон!! Эх его, старается... этот звонарь!

Все чаще и чаще звонили последнее время по умершим сверстникам Александерсена. И у него началось какое-то стеснение в груди, словно от предчувствия близости чего-то... чего-то, выходящего из пределов повседневности, будничных порядков, будничных мыслей.

Каждый день Симсен на двух своих костылях ковылял мимо, пошлый и грубый...

А теперь: слушай!—веско, торжественно, как по одном из царей бытия, прошедшем свой путь до конца и добывшем венец жизни!.. Скорбные звуки будят эхо во всех углах комнаты Александерсена, вокруг его прилежной иголки, вокруг его холостяцкой, лишенной событий жизни.

Александерсен так живо помнил,—словно все это вчера было,—как он подымал Симсена на площади, обтирал ему глаза, в ручонку ему совал ручку ведра... Словно вчера было, а между теми днями и нынешним легла долгая жизнь. Четыре раза был Симсен женат, имел от четырех жен восемнадцать человек детей, от них восемь внучат, пять раз ходил кругом света, потерпел крушение,

убил двух портовых старост, сидел в тюрьме, страдал белой горячкой... пока, наконец, скрюченный ревматизмом и последствиями всех радостей и невзгод жизни, стал ковылять только от пивной к пивной в своем родном городке, сохранив в карманах мелкие чужеземные монетки, а в складках одежды запахи дальних стран.

А вот тут сидел Александерсен, бледный и усталый, на своем верстаке, где сидел всегда, и шил, шил—всего в пяти шагах от собственной своей люльки.

Звонят и звонят, будто собираются хоронить его самого. Тучи сгущаются. В тесной портновской комнате стало темно, как в каменной гробнице или в сосновом гробу.

Колокола замолкли.

Симсена опускают в могилу.

Опять идет тот парень, горланя пошлый припев:

Кто же: портной

или сапожник?

Кто же: сапожник

или портной?

и семь-восемь свистунов, твердо отбивая такт, вторят ему с высоты лесов.

Тут душу Александерсена охватила какая-то странная лихорадка, неведомая ему раньше, какая-то паника, потрясающий страх задохнуться от всей этой гнетущей пошлости и бурная, страстная тоска о чем-то, о чем—он и сам не знал,

Зз—зз—зз!.. просвистала в воздухе стая перелетных птиц,—как гости, убегаящие с омраченного праздника жизни. Александерсен встал, бледный, потрясенный.

Топтаться тут, увядать тут, задохнуться и умереть тут опутанным тысячами пут,—быть не может, чтобы так было назначение его жизни! Что-то встает в нем, просыпается, зовет, жалуется, гнетет... борется, ищет, ловит воздух.

Птицы улетают, облака уносятся... ах, улететь бы птицей, прочь от всего этого гнетущего, безнадежного, узкого!.. Обрести свободу, счастье и смысл жизни где-нибудь там, где шелестят пальмы, плоды источают сладкий сок... где жизнь облагоухана, имеет широкие горизонты, где сложились буйные песни Леона Ахиллеса!

«Гость в персти»—гласила надпись на кофейнике. Гость... гость!..

И будто молния ударила и расколола, раздвинула границы его духовного «я». Его вдруг осенило: «Да почему ж бы мне и не уехать? Я ведь свободен, как птицы перелетные! Меня в сущности не связывают никакие узы, захочу и уеду в любой день! Как же я не видал этого до сих пор? Надпись на кофейнике Торбинны сущая истина, в ней бездонная глубина самой истины. Я—прохожий, чужой, птица перелетная, «гость в персти»!

ИНТЕРМЕЦЦО

О провидении и прочая болтовня.

Писатель, поэт, является таким же провидением для своего героя, совершенно таким же, как настоящее провидение для своих героев. Писатель предопределяет всю судьбу своего героя, заставляет его смеяться и плакать, назначает время, когда ему чихнуть, и указывает, как ему усесться на скамейку в ожидании негодяя, должествующего появиться двумя страницами позже... Писатель пролагает герою путь сквозь толпу других персонажей и благополучно доводит его до алтаря или до могилы—совсем, как настоящее провидение поступает со всеми нами.

Я, стало быть, провидение Александерсена.

В течение ряда лет я внимательно наблюдал повседневную деятельность провидения вокруг меня, в домах и на улицах, в государствах и разных странах, так что, полагаю, сумею подражать его искусству—в малом. Отнюдь не в великом. То, например, что провидение в данное время затеяло в Европе, скоро показалось бы мне слишком сложным, запутанным. Да не думаю, чтобы и

оно само могло еще долго развивать эту тему—теперь, когда вмешались и Америка, и Сибирь. По моему, дело кончится каким-нибудь кавардаком. Но это его дело. На моем попечении только Александерсен.

Позволю себе поэтому закурить сигару и перенестись духовно в городок, где Александерсену предстоит завтра явиться на Чрезвычайное Общее собрание.

Ночь.

Городок спит.

Я могу заглядывать в окна.

Обыватели, лежа в постелях, воссылают вечерние мольбы провидению... стало быть, мне. Изю всех домов возносятся эти молитвы. Люди молятся мне, прославляют мою мудрость, мое милосердие и т. п. Они смачно льстят мне, чтобы задобрить меня. Я это отлично понимаю. Некоторые из них обращают глаза к небу и поют мне гимны. Разумеется,—люди опытные!

Эх, мелюзга!

Вон там, по чердаку, бегает парочка. Поймали друг дружку. Покатились вместе в уголок. Готово. Без башмаков, в одних чулках, прокрадываются, каждый порознь, к себе вниз, пугливо косясь на меня—видел ли я? Благодарю, видел. Провидению приходилось видеть такие вещи, которые трудно выследить более словоохотливым лицам. С другой стороны, возвысившись до роли провидения, становившись в сущности весьма снисходительным ко всей этой мелюзге, что бегают и суется и дьяволит там внизу, дерется между собой и целуется—косясь в мою сторону и пугая мною друг дружку: я-де на их

стороне, стою за них, а вот других накажу... Да, они это умеют.

В одной мансарде огонек. Там сидит Горбун. Он не переваривает Александерсена, у которого целых двенадцать лет в долгу за семь белых уток. Окрыленный успехом своей песенки, он усердно строчит членские списки, повестки, программы, квитанции. А кто же этот толстяк с сигарным окурком под черным усом? Ах, да ведь это виновник всего, салонник Танцор. Он хлопает себя по коленке и заливается клопочущим смешком. На ладони у него виден синий дракон. У него все тело татуировано (предмет разговора между городскими девицами и дамами). Сейчас он сидит и беседует с каким-то старикашкой, который, стоя, докладывает ему что-то шопотом. Господи помилуй, да это звонарь, Иуда, помощник Александерсена!

Вот она, мелюзга, какова—под покровом темноты.

Пастора нет дома; он обсуждает завтрашнее Общее собрание с прачкой. Они лежат в постели и высчитывают по пальцам, на какое число голосов может рассчитывать портной.

У Торбины горит стеариновая свечка. Господи помилуй эту старую укусницу! Сегодня суббота, и она смеяет белье. И тычется мордой, упрямой, как у старой, переставшей доиться коровы, чуть не в самую свечку, стараясь развязать затянувшийся на тесемке узелок.

Впрочем, ей и не с чего смотреть мягче. Она ровесница салоннику. Раз он поцеловал ее еще девочкой на пути в воскресную школу, но тут из-за угла вывернулся какой-то человек с тачкой. Это единственное событие в ее жизни.

Позже она могла бы заполучить сапожника в мужья, но в то время предпочитала портного. Он был на пятнадцать лет старше и считался светилом в семье. Не то, чтобы сам портной в сущности желал жениться на ней; скорее, напротив, она потому именно и предпочитала его, что он не желал, тогда как сапожник желал. Теперь сапожник скovyрнул портного. И Торбине теперь хотелось бы, чтобы сапожник был ее, да он-то уж не хотел больше, и вот, Торбине оставалось хозяйничать у портного.

Наконец, Торбине удалось развязать узелок и отделаться от панталон, в которых она, поохотившись, изловила крупную блоху, изводившую ее целый день.

А все эти дни, с утра до вечера, ее изводило то, что весь город насвистывал, и напевал, и горланил тот самый вопрос, с которым она в течение двенадцати лет сама носилась в глубочайшей тайне:

Кто же: сапожник
или портной?
Кто же: портной
или сапожник?

Зато она знает про себя, что добросовестно, по-христиански, ежедневно угощала портного полными порциями кислых мин, вздорных вспышек и упрямства, которых даже она не приоднесла бы никакому другому мужчине или другой женщине, менее близким ей. Она ведь считается с тем, что когда-нибудь да портной все-таки должен будет исполнить свой родственный долг и жениться на ней, но ее злит, что сапожник, ее тайная пассия, тем временем скovyрнул портного.

Не всегда это легко—разыгрывать из себя провидение, и я, лукавый меня побери, положительно не представляю себе, что сделать с этой старой мыльной кадущкой? Думаю, что оставлю ее в старых девках. Портного она, во всяком случае, не получит.

Вот она спускает с себя сорочку...

Торбина красива, даже чрезвычайно красива—чтобы не сказать, ослепительно красива—сейчас, при свете стеаринового огарка: пышная, здоровая, крепкая. Не будь только у нее этой проклятой кислой рожи.

Торбина в детстве считалась первой ученицей в воскресной школе, а теперь, в зрелом своем девичестве, состоит весьма видным членом небольшого религиозного братства «Прочь от мира сего» и хранительницей общего достоинства братства—большого синего кофейника с надписью: «Я—гость в персти», стоящего у нее на комод.

Думаю, все-таки, что самое лучшее выдать ее за сапожника. Передо мной, во всяком случае, по крайней мере, сотни две страниц—на протяжении их еще можно много сделать. Постараюсь устроить обращение сапожника, приобщение его к секте, и разлучить Торбину с портным. Но как все это устроится... Я не—я, если знаю это!

Теперь Торбина облеклась в чистую сорочку с глухим воротом, скрывающую как раз все то, на что стоит посмотреть, и оставляющую на показ лишь кислую «физиономию», которую ей лучше бы запаковать во все те тряпки и лоскутки, что хранятся у нее в кладовке.

Затем она с сонным видом заползает в свою постель и возносит ко мне кислую и выпренную вечернюю молитву.

Ладно, ладно. Спокойной ночи, Торбина. Я подумаю о тебе.

Часы на колокольне пробили двенадцать. Над тихим и темным городком сияют звезды. А мой герой Александерсен лежит без сна и ворочается в своей постели. В нем поднялась буря, взрывчатая сила, *primus motor*, страх задохнуться, не успев пожить... Страх смерти, великий ужас... В нем бродит отчаяние и наэлектризовывает его, уподобляя грозовому облаку в центре этого мирного захолустья, где души вялы, как засыпающая рыба. Будь спокоен, Александерсен! Ты герой романа. Ты не будешь забыт, как многие другие. У тебя есть провидение. Я—твое провидение, мудрое и благожелательное, и всемогущее, парящее высоко над трубой твоего дома и обеспечивающее твоё благо. Будь спокоен. Ты выберешься отсюда, увидишь белый свет. Тебя влечет к Леону Ахиллесу? Ты встретишься с ним. И с Мариорджией. Со всеми великими. Тебя влекут высоты жизни? Ты их достигнешь. Ты ищешь обрести смысл жизни? Поиски твои не останутся тщетными! Спи с миром, Александерсен!

Но как, чорт возьми, я отправлю его в путь? Общее собрание назначено на завтрашний вечер, а ни один пароход не зайдет сюда, в гавань, раньше, нежели через две недели. Стоило бы прибегнуть к маленькому чуду... Но это лишь в старину провидение прибегало к чудесам. В наше время такой прием не годится. Люди знают не хотят чудес.

Но ведь нужно же, чтобы он выбрался отсюда. Он как раз сейчас под всеми парусами. Придется, все-таки, чорт возьми, смастерить малюсенькое чудо. Ведь аэро-

плана сюда на остров не пригонишь. И откуда взять аэроплан в наши времена? Все иностранные на фронтах, а наши собственные только и знают, что падают.—Ага! Придумал! Я прибегну к «ковру-самолету»! Он немножко поизносился. Так я возьму новый кусок сукна. Целый кусок! Положить его прямо на стол портному, однако, нельзя. Это навело бы героя на подозрения. Возьму и суну свернутый кусок между прочими кусками материй, что сложены штабелем у стены. Затем постараюсь привлечь на этот кусок внимание Александерсена. Можно пустить в ход муху (Сколько сонных мух сидит у него на навозной куче!). Она выкарабкается из помойного ведра.

Да, да. Мухи вообще играют не последнюю роль в ряду орудий провидения. Муж моей тетки, старый, жадный школьный учитель, с козлиной бородой, никак не мог умереть. Ничто его не брало—ни старость, ни ревматизм, ни тиф, ни катар кишечника, ни закупорка сосудов, ни ишиас—все от него отскакивало. Наконец уж пущена была в ход кровельная черепица. Но ведь черепица не упадет с крыши в одну секунду, хотя бы и после недавнего ливня. Понадобилось командировать в рот старику «нарочную» муху, чтобы он так долго стоял на тротуаре перед домом, перхая и отхаркиваясь, пока черепица не свалилась ему на голову и не прикончила его.

Так вот, и посмотрим теперь. Я пошлю муху. Увидим, что дело выгорит. А теперь время подходит к двум часам ночи. Не к чему дальше ломать себе голову в такую позднюю пору.

Завтра увидим.

СУКНО

Ветер теребил крышу, и рассвет ложился синеватыми пятнами на подоконник, когда Александерсен встал с постели.

Было воскресное утро.

Все дома еще спали в утренних сумерках, но Александерсену не спалось. Скорбь, тоска желаний, осенняя жуть и шелест опадающей листвы волновали его, вызывали в нем лихорадку. А он вообще не знал лихорадки никогда.

Он вошел в свою тихую мастерскую, где медленно разливался утренний свет, обещая ему новый скучный день.

Муха порхнула ему на лицо.

Он ее смахнул.

Она села ему на ухо.

Он хотел ее прихлопнуть.

Она увернулась и укусила его в шею сзади.

Александерсен распалился. Схватил аршин и погнался за нею. Она полетела и села на свернутый кусок сукна, слегка торчавший из штабеля других кусков материй.

Александерсен пришел в изумление. Этот кусок там!?

Он никогда и не подозревал, что у него есть в запасе такое сукно. Должно быть, осталось еще со времен его отца—матери.

Александерсен вытянул кусок и развернул—непостижимо! Сказочно-причудливый, красный с синим узор крупными, яркими цветами!.. И пахло от этого старинного сукна как-то особенно, сказочною стариною.

В складках оказалась пожелтевшая бумажка. На ней дрожащей старческой рукой было написано, как будто еще во времена домовых и ведьм:

«Лети, лоскуток!»

и пониже другая строчка:

«Спустишь, лоскуток!»

Александерсену взгрустнулось, и он сел за работу. Сукно осталось лежать перед ним на столе.

И Торбина выползла из перин и принялась за скучное приготовление утренней трапезы. Александерсен слышал скучное шарканье ее старых туфель по скучным каменным плитам кухонного пола.

«Лети, лоскуток!»—насмешливо процедил он сквозь зубы.

В ту же секунду его щелкнуло по пальцам так, что он опрокинулся навзничь вместе со своими ножницами, иглами, мелом и лоскутьями. Сукно взвилось к потолку, шумно развертывая свои темные складки.

«Спустишь, лоскуток!»—крикнул Александерсен, и сукно мягко опустилось на столы и стулья.

— Господи! Что тут за грохот?—крикнула Торбина

из кухонной двери и широко шагнула через порог, узрев своего хозяина и господина лежащим, со всеми своими атрибутами, в ящике с золой.

Священник и левит были в свое время настолько благородны, что проехали мимо ограбленного путника, не глумясь над ним. Торбина была менее сдержана по своей природе и созерцала поверженного портного с нескрываемым злорадством и презрением.

Осыпавший ее бранью, Александерсен поднялся и выпрямился во весь свой рост. Сердце его билось юношеской отвагой, душа ликовала.

— Приготовь корзинку с провизией, самую большую, какая найдется у нас!—крикнул он.—Положи яиц, хлеба, сыру, колбас... и петуха, белого петуха. Чорт побери! Портному сидеть тут да изводиться из-за какого-то сапожника? Мы ведь гости, Торбина, «гости в перети»!

— Петуха!—заклаясь, проговорила Торбина полувывающе, полусмущенно. Она не поняла его и думала, что он издевается над нею.

— Да, топор с крюка, голову с петуха, и петуха в кастрюлю!—крикнул Александерсен, вспрыгнул на верстак, забрал драгоценное сукно и принялся раскраивать его и шивать большой ковер.

— Да ведь раньше двух недель парохода не будет!—выкрикнула Торбина, постояв и немножко собравшись с мыслями. Она сообразила теперь, что портной хотел удрать от Общего собрания.

— Будь только готова к четырем часам,—ответил Александерсен.—Я позабочусь об остальном.

— Но в четыре Правление придет пить кофе!—закри-

чала опять Торбина, вскиная негодованием по адресу его забывчивости. «Правление» было для нее чем-то внушительным, требовавшим к себе особого почтения, хотя каждого из его членов в отдельности она в прош не ставила.

— Тем лучше!—сказал Александерсен, смеясь и продолжая шить с пылающими щеками и шибко бьющимся сердцем. Сказка посетила его дом. На коленях у него лежало знаменитое волшебное сукно, о котором он слышал в детстве. Великий час в его жизни пробил. Перед ним открывался весь мир.

— Дело идет на лад!—закричал под окном хромой муж повитухи. Пороху он бы не выдумал, но его очень ценили в кружках и партиях за неутомимую агитацию. Сейчас он шел от прачки, которая встала сегодня поздно.

— Старайся, старайся!—весело крикнул в ответ Александерсен, продолжая шить. Все вдруг стало ему как-то странно-безразлично,—как если бы все Общее собрание, со звонарем и мужем повитухи вместе, лежало у него вот тут, в рабочей корзинке. Он был ведь только—«гость в перети»!

Александерсен, человек рассудка, не был музыкальным. Страсти у него были, но рассудок его никогда не дремал. Ему претило отдаваться во власть настроению, и принадок непобедимой паники, охватившей его вчера, явился для него чем-то неслыханным, новым. Итак, он не был музыкальным, но теперь... да, он не узнавал себя самого: вне себя от счастья, он принялся напевать:

Кто же: портной
или сапожник?
Кто же: сапожник
или портной?

Эй, убирайся, портной долговязый!
Будет вождем нам сапожник! Ура!

Торбина была так поражена этим, что, хлопнув дверью, стояла некоторое время, словно в столбняке, с бьющимся сердцем.—Что же это такое?... И петух!? Белый петух! Зарезать!.. Ее любимца! Портной, верно, хотел только подрезать ее! Но, если так, то надо поймать его на слове!

— Полли! Полли! Полли!

Прибежал жирный белый петух, с налитыми кровью, жадными глазами. С горечью отрубила она своему любимцу голову, и он вывалился из ее рук с бьющим из остатка горла фонтаном крови.

— И этакий-то норовит удрать от меня! Безголовый дурень!—вскричала она и поймала петуха с таким азартом, как будто это был сам портной.

Но через полчаса после того, как Торбина с помощью соседки-прачки ошцанила петуха, на другом конце города было уже известно, что Александерсен сдался, уложил свой чемодан и отбывает из города—бог весть как—сегодня же, в четыре часа.

ОТБЫТИЕ

— Давай же корзинку с провизией!—закричал Александерсен, вернувшись. Он выходил по делам, продал свой дом закадычному другу и фактотуму самого сапожника, трубочисту, заплатил по всем счетам, сбыл последний остаток материи и досыта наслушался намеков насчет прискорбно-злостного поведения Общего собрания, а также злорадно-соболезнующих вопросов: неужто он и наравду уезжает?

— Да ведь пету сегодня парохода!—закричала в ответ Торбина.

Она всегда кричала.

— А я все-таки уезжаю,—сказал Александерсен. Он весь раздумывался, был полон мальчишеского задора.

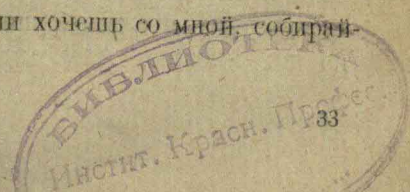
— Да каким образом?—кричала она.

— Каким? А вот увидишь,—ответил он, зная, что если расскажет ей о ковре, она только хлопнет себя по драм и презрительно расхохочется.

— Ну, а я то?—опять кричала Торбина. Она совсем растерялась.

— Ты?—ответил он:—Если хочешь со мной, собирайся живо!

Александерсен.



— Ни за что!—крикнула Торбина, дождавшись приглашения.—«Бежать из города» казалось ей постыднейшим делом в мире. Ее семья поставила крест над одним племянником, когда-то «бежавшим из города».

— Так оставайся!—сказал Александерсен.

— Да что же это?—жалобно завопила Торбина, кинулась в кухню, засуетилась, захлопала дверями и то собирала, то разбрасывала, то опять собирала вещи. Ее куриная голова кружилась, мозги ее не были приспособлены действовать в великие моменты жизни.

Пришла посланница из «Вдовьего Дома»: правда ли?

— Как же, правда.

— А знает ли Александерсен, что его прабабушка слишком слаба, чтобы перенести такое душевное волнение?

Что делать, не ждать же Александерсену—чтобы начать жить самому—пока умрет его прабабушка!

С тем посланница и ушла.

Повеяло бурей из другого мира.

Приплелись старые члены Правления с картами в карманах. Они в толк взять не могли—как это так, Александерсен уезжает. Хе-хе! Они полагали, что Александерсен еще проживет тут с ними, и не год, и не два—а пока не сложит своих костей на здешнем кладбище... и расчитывали немножко повеличаться над ним в отместку за всю ту кутерьму, что он обрушил на их головы. Да, пожалуй, по их мнению, Александерсену и бесполезно было

почувствовать, что его можно было свалить, а сапожнику, в свою очередь, полезно попробовать свои силы некоторое время. Они же тем временем избавятся от всякого беспокойства.

Все-таки они помогли портному расстелить с заветренной стороны дома и придержать тяжелым камнем болтающийся ковер с яркими синими цветами.

У дверей пивовара скопилось толпа.

Торбина совсем потеряла голову.

Уезжать или оставаться?

Как все рассудительные люди, она выбрала золотую середину: решила остаться, но приготовилась в дорогу. Она облеклась в дорожный костюм с высоким, глухим воротничком, со шнурками и стеклярусными балаболками, твердо решившись в последнюю минуту, когда экипаж под'едет, устроить большую сцену, апеллировать к собравшимся и принудить портного остаться. Пока же она со слезами вышла из дому и поместилась на ковре около корзинок с провизией.

Люди привстали на цыпочки.

В окошки видно было, как портной, высокий и серьезный, обходил дом, задвигал старые задвижки, выравнивал стулья, поправлял в углу метлу, созерцал изуродованный портрет Леона Ахиллеса... «Будет ли он иметь счастье встретиться с ним там, в большом свете?»... Вот он вышел, запер кухонную дверь и повесил ключ на гвоздик.

Как он бледен! В толпе царил мертвая тишина, но все ехидно подталкивали друг друга локтями и, ухмыляясь, высматривали экипаж. «Как муха в бутылке!»—думали они о портном.

Александрсен ступил на ковер и оглянулся на старый дорогой дом «Городского Собрания», где уже расставляли скамьи для предстоящего Общего собрания и прикрепляли люстры для заключительного пляса.

Дело всей его жизни было проиграно—он не понимал почему. Танцор завоевал всех. Зато ему открывался другой, высший, более прекрасный и более богатый мир, нежели тот, о каком могли помыслить все эти прочие.

Поэтому он втихомолку тешился, глядя, как они тут толпятся и самодовольно хихикают исподтишка и вертят головами, высматривая экипаж!

— А теперь я сердечно распрощаюсь с вами!—(Веселье становится более шумным).—Тем путем, каким я сейчас отправляюсь, вы, по основательным причинам, следовать за мной не можете. (Веселье). Но устройте сегодня дружное Общее собрание и решайте себе на здоровье,

Кто же: сапожник

или портной?

Кто же: портной

или сапожник...

потому что сейчас портной улетит. (Продолжительное веселье под сурдинку). Я дарю Горбуну ту семерку белых уток, за которых он мне задолжал двенадцать лет тому назад, а если и кому-нибудь что-нибудь должен, то прошу заявить свою претензию немедленно, в эту последнюю минуту. (Шумное веселье). Нет никого? Ладно. Счастливого оставаться!.. Лети, лоскуток!..

И под крики ужаса, взрывы хохота и пронзительный визг Торбины, ковер бесшумно поднялся и понесся по

ветру, над трубой дома прачки, под грушевым деревом, верхушки которого Александрсен не видал с тех пор, как еще мальчиком карабкался на него, чтобы посмотреть—где конец света.

Собаки прыгали и бесновались. Курицы спасались по домам. Богаделенки захлопывали окна и перекидывали очки с носа на лоб, а трое вероломных членов Правления, горячо толковавших с сапожником, стоя—в ожидании экипажа—у его окна, кинулись бежать по улице, размахивая руками и указывая пальцами вверх. И даже сам черноусый сапожник вышел из дома и во все глаза глядел поверх домовых труб и крыши, следя за тем, как бойкотированный портной покидал свой родной город на крыльях бури.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

О, как свободно дышалось портному! Все, что он в жизни слышал, читал, учил, испытывал, о чем мечтал— всё как будто исчезло, растаяло и растворилось в одном великом, сильном, гордом, освобождающем ощущении:

«Я—гость... временный гость в персти!»

Никем и ничем не был он связан—ни дружбой, ни враждой, никакими планами, никаким вздором, никакими воспоминаниями. «Гость в персти!»—ликующе раздавалось в его душе в то время, когда он неся по воздуху, освобожденный и свободный, радуясь возможности дышать и жить, и—готовый упасть стремглав и умереть.

Совсем не то было с Торбиной. Она напоминала рыб, водящихся в тинистых, илистых водах. Подобные ей так долго живут в потемках, в тине, среди кислых рож, что для них становится уже милой привычкой жить, как полумертвые, в тоске и горькой обиде.

Торбина могла бы дожить до девяноста лет, питаясь изо дня в день собственной вздорностью, собственным упрямством, вечным недовольством и горечью обиды. Ее кислые мины мало-по-малу обратились в «парадную»

мину; ощущение обиды, повторяясь изо дня в день, обратилось в дорогую привычку, в постоянную жизненную потребность. Таков же был и основной тон того маленького братства, к которому она принадлежала.

Их девиз: «Прочь от мира сего» был не восторженной мечтой о более возвышенном и блаженном существовании, но скорее лишь сердитой гримасой по адресу мира сего, который они ведь любили всем сердцем и где плавали себе да плавали в потемках, в тине, среди кислых физиономий.

И вот, вместо того, чтобы притти в восторг от исполнения своего желания—прочь от мира сего, Торбина, ошеломленная внезапностью полета в поднебесье, забыла все библейские изречения и утешения «на горший час жизни» и только дико вопила, распростертая на ковре, крепко вцепившись в тонкое сукно, так жутко колебавшееся под ее коленками и носками ее башмаков.

Двадцать лет своей жизни затратила она, чтобы подготовиться и вооружиться для «горшего» часа. Теперь он наступил, этот час, и она лежала и блевала через край ковра, крепко нажимая одним башмаком на другой—лишь бы чувствовать под ногой что-нибудь твердое.

Солнце село. Под ними бушевало беспощадное море.

Александрсен стоял, выпрямясь, готовый к падению и смерти. Словно камень, пущенный из пращи, рассекал он пространство, отданный во власть бездушных, безжалостных стихий—неба без уст, моря без глаз, бури без рук.

Внутренне он был тверд. Каждым фибром своего тела

ощущал он, что не хочет продолжать прежнего тусклого, вязнувшего в тине пошлости существования. Лучше смерть. Он летел высоко под небесами, прорезая пространство, стремясь к высотам бытия, к зенитам жизни, где великий государственный муж Мельба и гениальный полководец Тюрко вертели трещащий глобус жизни в борьбе за великие идеи мировой истории; где мыслитель Уриан благоговейно погружался в глубины мысли и в вечные проблемы; где Лесн Ахиллес в гигантском размахе своего буйного духа бросал гимны солнцу, и где княгиня Катт творила свои романы, вкладывая в них всю солнечную радость собственной сказочной жизни и свое блестящее остроумие.

Торбина все лежала, извиваясь, как рыба, вытасченная из родной стихии. Александерсен, глядя на нее, тешился про себя. И она, ведь, «гость в персти». Ей полезно испытать это!

Потом он стал утешать ее—со всей чинностью и благоразумием старого холостяка—и довел таки-ее до того, что они потрапезовали вместе, окруженные густейшим туманом, в котором Александерсен едва мог различить Торбину, а Торбина—Александерсена.

На следующее утро они проснулись на ковре. Под ними по-прежнему бушевало море. Целый день летели они над морем и под конец чуть не оглохли от шума и рева морского.

Лишь на третий день вечером, голодные и продрогшие, завидели они внизу землю. В лицо им повеяло более мягким ветром, запахом жизни и водорослей.

Земля была с виду пустынная, с дикими, темными лесами.

Наконец, сердца их радостно забились. Они разглядели бовый поселок с деревянными домишками и бревенчатой колокольней, с которой звонил колокол, возвещающий час заката.

— Спустись, лоскуток!—крикнул Александерсен, и ковер, планируя, со свистом спустился с ними на двор, где двое чернокожих молодцов возились с лошадьми, а девушка качала воду в ведро.

— Добрый вечер!—крикнул Александерсен, когда они перелетали через крышу. Лошади шарахнулись, а девушка с визгом уронила ведро на каменную мостовую.

Александерсен озирался вокруг с довольным видом, разминая ноги, а Торбина буквально дрожала от радости, чувствуя под собой благословенную твердую почву—пусть даже это было самое проклятое место на всей земле.

Александерсен свернул драгоценный ковер и перекинул его себе через руку, с любопытством разглядывая утрюмый барак, где ему впервые в жизни предстояло заночевать среди чужих.

Над дверями барака, на окрашенной доске можно было прочесть гостеприимное название: «Гостиница Вифтеем».

„ГОСТИНИЦА ВИФЛЕЕМ“

Двор был обнесен палисадом.

У темных окон в бараке сидели люди, поглядывая в сумрак двора, словно пассажиры из окон поезда.

— Тут мы хорошенько отдохнем и обогреемся, — сказал Александерсен, потирая руки. Вдруг, откуда-то снизу, из-за его каблуков, раздался тоненький дрожащий человеческий голос:

— Ой, мерзну! Ой, мерзну!

— Что это? — спросил Александерсен, круто поворачиваясь. Голос звучал такой безнадежной скорбью.

— О, это просто от перехода, — отозвался с крыльца хозяин, рослый, жизнерадостный мужчина в одной жилетке. Его белые зубы так и сверкали в сумерках. Тут Александерсен рассмотрел, что голос исходил из дымившейся на холодном ветру, около сарая, свежей лужи крови.

— Только что вышла из теплого тела, — продолжал хозяин, — и не может опять попасть в тепло. Зато, благодарение богу, мы-то можем, — прибавил он и сердечно потряс руку Александерсену. — Добро пожаловать под мой кров. Славно двум бездомным путникам очутиться в

холодную, бурную ночь в тепле и свете. Добро пожаловать!.. Нильс и Ганс! Снесите вещи гостей в номер пятый! И упаси вас боже станцить что-нибудь. Да закройте ворота от волгов.

В разбросанных меж холмами домишках зажглись огоньки, а в переполненной харчевне было еще темно. Гости теснились около столов, стоя и сидя, играя в карты и в кости.

Хозяин, пролагая новым гостям дорогу сквозь эту тесноту, мимоходом зажгет лампу.

Сердце Александерсена на миг замерло от страха и напряжения. Он увидел, что все эти люди — волосатые и чернокожие. А когда хозяин зажигал тусклую лампочку в соседней комнате, Александерсен разглядел, что и у него руки и лицо черные.

— Однако, любезный, — сказал ему Александерсен, — вы негр!

— Думать можно все, — тихо отозвался хозяин с особенной усмешкой, — но не все, что думаешь, можно говорить. Вот мой добрый совет вам, друзья. Но я не сержусь... А теперь, дорогие гости, садитесь и наслаждайтесь теплом, едой и покоем.

— Да, сегодня мы, странники, попали в хорошую компанию, Торбина! Не так ли? — сказал Александерсен, чтобы загладить свои первые слова. И он дрожащей рукой отрезал испуганной Торбине сочный кусок кровавого риббифа.

Черные гости вокруг них играли и пили. Тучный негр, отдуваясь, выводил мелом на доске какие-то цифры, а под

столом валялся рослый ушавшийся молодой негр и хрюкал во всю.

— Но что там за вой слышно?—спросил Александерсен.

— Это волки,—ответил хозяин.

— Здесь так много волков?—вполголоса продолжал Александерсен, поглядывая в стекла окон, которые в это время как раз закрывали ставнями.

— О, Новый Поселок—старая волчья родина. На этой площади находились их главные логова. И каждое утро на пыльной большой дороге видны свежие волчьи следы. Каждую ночь со всех сторон несется их похотливый и голодный вой. Да, до чего низко стоят некоторые твари!.. И все-таки эти отбросы цепляются за жизнь! В прошлом году, мне попались волчьи король с королевой. Целых два часа не могли издохнуть. Сроду не слышал я такого воя, как выла эта парочка, истекая кровью. Они еще брыкались, когда мы сдирали с них шкуры.

— Я лишь гость на этой земле,—прошептал Александерсен, как бы извиняясь.

Немного погодя явилась чернокожая девушка со свечой и проводила гостей в номер пятый.

На сосновой перегородке висели распяленные на гвоздях две большие волчьи шкуры.

Торбина была простой деревенской девушкой, но в воскресной школе и в братстве усвоила себе высоко-аристократическую, уточненную уверенность в том, что следует делать, говорить и думать. Мозговая дея-

тельность ее по этой причине мало-по-малу ограничилась минимальным кругом, зато пунктуальность и память развились феноменально, как у морских львов или у эригерциний.

Жизненные принципы хранились, подобно фамильному серебру, в недрах ее души, где раз навсегда были заперты. Они годились на то, чтобы их чистили, полировали, выставляли на показ или дразнили ими других, но с практикой ее жизни они не имели ни малейшей связи. Торбина с алчностью старой вороны стерегла их, как фамильное серебро, и никогда не использовала иначе, как только для показа—в тихие интимные часы. Поэтому она (как наши местные святые) прожила на практике свою жизнь без всяких принципов, ибо единственным ее жизненным принципом было оберегать свои принципы и следить за тем, чтобы они как-нибудь не потускнели.

И вот, когда что-нибудь случалось, она металась, как обезглавленная курица, не зная решительно—как быть, куда ткнуться.

Сегодня вдобавок волчье завывание и негритянские физиономии окончательно парализовали деятельность ее мыслительного аппарата, так что она даже не заметила, насколько мало отвечало приличиям совместное ее пребывание с портным в одной спальне. А между тем, ни в какой другой области принципы старой девы не были строже.

Опять завывли волки.

Наконец, двое спутников уснули—Александерсен, положив голову на благодатный ковер, который завтра

утром должен был унести их из этой ужасной местности в блаженнейшие края жизни; Торбина, — тяжело вздыхая во сне и грезя, что стоит у себя дома на пороге покосившейся кухонной двери и чистит заскорузлую картошку, а через дорогу идет к ней прачка, с горшечком под передником, попросить взаймы пару яиц да ложку *кардамона*.

Среди ночи путники проснулись от громкого воя под окнами и от странного хлопанья в самой их комнате.

Это трепыхались и хлопали об стенку, в ответ на каждое завывание, волчьи шкуры, словно только что пойманные камбалы.

Но тут во дворе поднялась суматоха, бешено залаяли собаки, раздалось несколько выстрелов, и — вой замер где-то вдали.

Вскоре последних засидевшихся гостей выпроводили. Их-то собственно и поджидали волки. Ворота заперли на засов, девушки и женщины разошлись по своим каморкам, и все, наконец, стихло.

Только подвешенная зачем-то снаружи на веревке большая медная щеколда равномерно стучала об стенку.

СРЕДИ НОВОПОСЕЛЕНЦЕВ

На следующее утро, пока Торбина одевалась к предстоящему полету, Александерсен вышел познакомиться с местностью. Поселок был совсем недавний, разбитый на только что расчищенном в бору месте, между темных вересковых холмов.

Александерсен заходил так далеко, что видел торчавшие из-за кочек волчьи уши. И кругом на росистом мхе виднелись бесчисленные следы ночной волчьей жизни.

Он облегченно вздохнул, очутившись опять между человеческими домишками и бараками.

На доске, вывешенной у деревянной церкви, было объявление: «Сегодня вечером проповедует «Портной Громобой».

«В это время я буду далеко», подумал Александерсен и, счастливый, поспешил домой.

Перед дверями гостиницы, на песке, валялся чернокожий лоснящийся сынишка хозяина и сосал что-то... какую-то косточку с ногтем.

— Что это? — спросил Александерсен.

— Пальчик,—ответил мальчуган и продолжал сосать.

Мгновенная дрожь панического ужаса пробежала по телу Александерсена. Ему захотелось как можно скорее очутиться на ковре.

— Послушай! Послушай!—бросилась ему в коридоре навстречу Торбина.—Украли!—прошептала она, белая, как мел.

Ковер был украден! Торбина, сначала ненавидевшая и презиравшая этот ковер, опрокинувший все ее правила и принципы, без устали хвасталась им все утро повсюду—от подвалов до чердака постоянного двора, пока, наконец, чья-то черная рука не сжалась над ней и не стащила ковер со всеми деньгами, вырученными от продажи дома.

Торбина дрожала всем телом, голова у нее шла кругом.

И, чтобы заглушить чувство конфуза за свою собственную глупость, она обдала Александерсена кипучим потоком отчаянных упреков. Весь этот полет был ведь затеян им в припадке безумного чванства, он загубил ее жизнь и свою тоже; глупость его безгранична; он унаследовал ее от отца и деда; душа у него фальшивая, и воротничек на нем всегда сидит криво, и вообще он не годится сапожнику даже в подметки. Обидно только ей расплачиваться жизнью за то, что она из ложных семейных соображений отказала сапожнику, вообразив, что можно положиться на портного!

Александерсен давно перестал раздражаться словоизвержениями вообще; а Торбининими в особенности. Он

знал, что она и сама не подозревает, что в сущности такое говорит, так как, постоянно торча на всех этих собраниях святош, отучилась работать мозгами, забытыми полупереваренной словесной мудростью, а рот ее превратился в отдушину или клапан, который действовал во всех чрезвычайных случаях автоматически.

«Я—гость на земле»—подумал он, крепко сжав губы, вдвойне хладнокровный при виде горячности другого. «И всюду стопы мои идут стезями моей судьбы».

В лацкане его куртки была воткнута игла. С ее помощью он устроится и заработает себе кусок хлеба всюду, куда попадет.

Овцы, простодушные, благочестивые овцы испуганно шарахаются и мчатся, сломя голову, кучками и целыми стадами—при виде летящего клочка бумаги, а горностаи, умный одинокий зверек, встает на задние лапки и внимательно озирается кругом—бежать ли ему?—озирается тем спокойнее, осторожнее, чем опасность больше.

Спокойно и внимательно обошел Александерсен все углы постоянного двора, разыскивая свой ковер.

Всюду господствовал самый строгий порядок. Это его успокоило. Ничто не указывало на дикость нравов; все говорило о христианском и гражданском порядке.

Он заглянул в каморку Нильса и Ганса. Там на стене он увидел сверкающую коллекцию ужасных ножей самых странных фасонов, но—никаких следов ковра!

В кладовой болтался под потолком какой-то копченый круглый предмет с забытыми сажей впадинами и двумя торчащими по бокам лоскутами.

— Что это?—встревоженно спросил он чернокожую

ключницу с оскаленными в улыбке зубами и с золотым крестиком на шейном шнурке.

Девушка ухмыльнулась и прищелкнула языком.

— Хорошая,—сказала она:—но вон та еще хорошее!— И она показала ножом, которым готовила бутерброды, на подобный же, но уже початый кругляш, подвешенный за косу.

«Я—гость на земле»,—прошептал себе Александерсен, чтобы не потерять присутствия духа, но острый, тонкий холодок пробежал по всему его телу предвестником лихорадки.

— Плохие гости... платили нет...—сказала девушка, смакуя и заливаясь звонким смехом.—Чужой гость пощиповать?—и она протянула ему на ноже ломтик.

Александерсен кинулся во двор. Голова его тихо кружилась, страх, лихорадочная тревога туманили его взор, в ушах шумело, внимание ослабевало, мысли шатались, как лес в бурю.

Он искал с утра до вечера,—никаких следов ковра. Доносившееся из пустыни волчье завыванье стало приближаться. Свистящий вихрь пронесся через двор. Он бы с быстротой бури умчал Александерсена и Торбина из этого ужасного места, уносил бы их с каждой минутой на целую милю дальше. Слышно было, как хлопают двери и как свистит ветер во всех щелях «Вифлеема».

На крыльце встретился ему хозяин. В черной паре, в белом воротничке, степенно, с молитвенником в руках, шествовал он под руку с женой.

Александерсен взглянул на него несколько неуверенно, но сразу успокоился и весело примкнул к ним.

— В наших местах очень развита общинная духовная жизнь,—сообщил ему хозяин, идя по дороге, по которой стремились и толпы людей—послушать «портного Громобоя».—Я сам построил Приходский дом для собраний верующих и пожертвовал подсвечники... Я ведь председатель приходского совета. Но подумываю уйти, очистить место молодым силам. Дорогой мой гость верно знает благородное стремление молодежи пробиться вперед.

«Да, спасибо!»—подумал Александерсен. Он вспомнил поэтические упражнения Горбуна на эту тему.

— Мы, старики, крепко держимся за святость и чистоту учения... за слово божие!—продолжал чернокожий:—Но молодежь норовит свернуть в сторону! И напирает на крещение, мораль и жизнь!

— Но жизнь опрокидывает учение!—убедительно промолвил Александерсен; молнией промелькнула в его мозгу мысль о виденном в кладовке.

— Разумеется,—ответил хозяин, помахивая ключем, надетым на палец.

— Жизнь—вино, учение—только сосуд. Но, если раздавить сосуд, вино прольется. Особенно нападает молодежь на мою профессию.

Александерсен наострил уши.

— Но я никогда никого не обманываю. Это громко сказано, но это истинная правда. Каждый получает от меня свое. Пожалуй, даже с надбавкой. Кое-когда. Но молодежь ведь склонна критиковать. Вот и у нас тоже. Особенно кантор! Впрочем, я необыкновенно высоко ценю этого человека. Чудесный и честный малый!.. Пожалуй, насколько ненадежен в денежных делах. Но это сущие

пустяки... просто на-просто сплетни недругов. Как и многое другое, что рассказывают про него в приходе. Во всяком случае, я считаю своим долгом исходить из того, что большая часть этих рассказов—все-таки вздор. Разумеется, я делаю это пока могу, не так ли? Но при добром желании можно уйти далеко. Да.

— Послушайте, скажите мне,—произнес Александерсен, остановившись на крыльце Приходского дома и схватив хозяина за руку.—Что собственно за штуки такие висят у вас в кладовой... на косах?

— Быть не может, чтобы мой дорогой гость сомневался насчет них,—улыбаясь, сказал хозяин, мягко обнял Александерсена за шею и повел в дверь.

Навстречу им несло мощное пение прихожан... Противостоять такому хору—было бы все равно, что лезть на стену.

Зала была набита битком. Нели третий стих и уже вновь спелись под управлением молодого кантора, который таким путем, вечер за вечером, лукаво завоевывал себе прочное место в сердцах прихожан—к возраставшему огорчению старого властного председателя. Приветствуемый со всех сторон и сам раскланиваясь на все стороны, последний провел своего представительного «белого» гостя к скамьям, окружавшим печку, около самой кафедры, с которой, очевидно, провозглашалось чистое учение.

МОРАЛЬ И ЧИСТОЕ УЧЕНИЕ

Маленький приход переживал период распы. Колоссальной важности вопросы, напрягавшие мысль народов цивилизованного человечества (истолкование 36-й строки 18-го стиха от Матфея, 65-й стр. 7-го ст. от Луки, 35-й стр. 7-го ст. «Откровения», 22-й стр. 2-го ст. послания к Галатам, 5-й стр. 4-го ст. пророка Аввакума, 22-й стр. 5-го ст. второго послания Петра—особенно в сравнении с главным местом пророчества Малахии: стих 7-й, строка 4-я), дошли и до сознания маленького стада чернокожих.

Войну открыла учительница начальной школы, публично выступив с обвинением, что в крестильной купели попадают головастики. Ее немедленно уволили, место ее было объявлено вакантным, и никто не кланялся ей в течение пяти дней.

На шестой день, в сумерки, к ней пробрался с черного крыльца кантор, чтобы выведать, на чем основывалось ее обвинение. Исследовав собранный ею материал, он убедился, что тут имелись основания для атаки. Человек он был весьма честолобивый и большой мастер слова в

выспреннем церковном стиле. Через день основалась оппозиционная партия с кантором и учительницей во главе. Ст прихожан члены партии получили кличку «головастики» и, формулируя на основе св. Писания свою религиозную программу, выставили четыре главных требования:

- 1) Новые обряды;
- 2) Новые должностные лица,
- 3) Сито для процеживания крестильной воды, и
- 4) Новая щеколда для выходной двери.

Последнее требование было прибавлено хитрым кантором. Он знал, что эта реформа уже втихомолку обсуждалась и была почти принята членами Приходского совета; в то же время она отвечала общим желаниям всей активной паствы. Но раз этой реформы потребовала оппозиция, старики по тактическим соображениям непременно должны были отказаться от дорогого их сердцу дела. И стали доказывать, что внушаемая высокомерием и погоней за новизною замена старой деревянной щеколды, захватанной и отполированной столькими набожными руками, больно оскорбит лучшие чувства слишком многих верующих.

Оппозиция раздобыла блестящую медную щеколду и подарила ее Приходскому дому, но Совет испуганно отказался приладить ее к двери, и председатель (он не желал, чтобы другие соперничали с ним пожертвованиями его Приходскому дому) в насмешку повесил щеколду на веревке под навесом крыши своей гостиницы, у наружной стены номера пятого.

Таким хитрым маневром кантор обеспечил за собой

преобладающее большинство прихожан. Председатель понимал свою ошибку, но не мог заставить себя снять щеколду с веревки. Чтобы переменить настроение прихода, он пролежал «при смерти» две недели, но трезво мыслящий кантор сумел использовать это время для подыскания себе сильного сторонника, нового «головастика», в лице одного из странствующих проповедников.

В ужасе от этого старики созвали ночью тайное совещание, на котором, как утверждали, присутствовал и смертельно больной председатель, переодетый старой горбуньей. Во всяком случае, на другой же день утром он, снарядив экстренную почту, поехал на четверке лошадей в «Центральную Общину» и в последнюю минуту подменил «головастика» «портным Громобоем», человеком старинного склада, весьма любимым старыми и малыми за свою феноменальную способность доводить до слез все собрание—стоило только его скорбной старой голове в очках показаться на кафедре.

Александрсен попал поэтому на весьма важное собрание. В воздухе чувствовалось электричество, напряжение раскола между старым и новым.

Все ждали развязки и—дождались.

РАЗВЯЗКА

Председатель рассчитал правильно. «Портной Громобой» был как раз подходящим человеком. Во время пения паства спокойно отдавалась во власть кантора, и настроение ускользало от стариков. Но стоило только «Громобойю» выступить—вся зала, в том числе и «головастики», устав от всех этих интриг и высших точек зрения, разразилась дружными всесмывающими слезами, и слезы эти, как мокрая губка, стерли все строптивые поползновения и особые мнения.

— Да, да, дорогие, возлюбленные друзья,—начал «Громобой» (череп у него был гол, как у старого моржа),—блаженны плачущие! Плачьте! Выплачьтесь. Как следует! Я думал, вы разучились плакать. А вы все дружно проливаете слезы!.. И я с вами...

Тут какой-то мальчишка на хорах уронил мешок с орехами, и они стали сыпаться на кожанникову Лотту. Мальчишки так наседали на нее на хорах во время бесконечных проповедей, что она разрешилась тройней, и ее перевели вниз к взрослым.

Но «Громобой» привык к возне молодежи на хорах и

невозмутимо продолжал:—О, как удивительно радостны верующие, всегда радостны и кротки душой! И мужественны! И умны, и сильны!.. И как ужасно несчастны неверующие! Всегда несчастны и жалки. Никогда не знают радости. Вечно трепещут, боятся!.. И все у них всегда не ладится. Они ломают себе ноги, рвут штаны, страдают гастрическими лихорадками и катарром желудка, не выигрывают в лоттерею...

Он привел массу ужасающих примеров того, как глупо быть неверующим, и к концу его проповеди вся зала сидела, объединенная орошенным слезами чувством общего блаженства, душевного величия и духовного обновления после слез. Снова раздалось оглушительно громкое пение, паническая радость охватила залу, и всякие особые мнения (за исключением у двух-трех наиболее упорных) снова в одно мгновение исчезли, словно стертые шваброй.

Встал какой-то старый негр и, намекая на кантора, сказал, что вот это было настоящее собрание, в истинном старом духе, и надо бы, по его мнению, кончить сбором,—может быть, кто-нибудь придумает, на что собирать?

И сбор устроили. Деньги шуршали и звенели, щедрость бурлила, головы кивали и шептались восторженно. Председатель обходил паству, пожимая всем руки, а «Громобой» отыскал в своей старой серой, под мрамор, сумке из тюленьей кожи, с семью знаменитыми пряжками, несколько красных и зеленых брошюр, которые и пустил в продажу.

Брошюрки раскупались прямо нарасхват, а он со сле-

зами на глазах стоял у столика, сморкался и дрожащими руками считал деньги, ощупывая. — Все ли они настоящие.

Настроение было сочельничное.

Но председатель среди всей этой атмосферы растроганности зорко следил за кантором. Он знал, что кантор — человек самостоятельный и предусмотрительный, способный, и что, проливая слезы, он строит свои планы. Так оно и было.

Распродав свои брошюры и жуя челюстями, старый проповедник запрягал деньги в сумку и застегнул все пряжки. Паства с восторгом пропела любимый псалом: «Свершилось, гляди: я снега белее!» Затем настала тишина, и встал кантор.

— Я знаю, что я негр, — начал он.

Истерический гул пронесся по зале при этом слишком откровенном, почти циничном признании. Даже «головастики» привскочили на скамейках от ужаса, а лицо председателя стало сначала пепельно-серым, затем смертельно почернело.

— Да, негр, — продолжал смиренно кантор, — и что проку мне от всех этих Приходских домов и подсвечников, если рука моя черна и творит дела мрака? (Зала затаила дыхание). Я негр, но ищу обитель твою, господи, держусь, как говорит псалом: за святую щеколду врат твоих... (По зале словно пронесли вихрем призраки, так велико было возбуждение...). Вперед буду я стремиться, господи, никто меня не оставит, и в твоей чистой купели омоюсь я и убелюсь паче снега!..

Кантор сел.

Напряжение было неописуемое. Все с восторженным изумлением воззрились на храброго молодого кантора: он первый за тридцать лет бросил перчатку старику председателю и своей дерзостью на некоторое время загипнотизировал всю паству.

Александрсен чувствовал, что воздух сгустился, и встал, чтобы удружить всем, удалив шишку раздора.

— Я гость — гость в этом зале, гость в здешней местности, гость на земле. Но и все мы гости. Все мы скоро уйдем опять. Зачем же нам ссориться то короткое время, что мы вместе? Не лучше ли встретиться и разойтись в дружбе и мире! Спасибо на сегодняшнем вечере. Всем сердечное спасибо.

Вежливое, но пустое молчание было ответом на слова Александрсена. Слова были красивые и верные. Но что хотел он доказать? Положение было, впрочем, крепче всяких доводов. Все ожидали столкновения, неминуемой великой схватки сил.

Тут медленно встал председатель. Дыханьем смерти повеяло в зале. Даже молодежь на хорах струсила и перестала щелкать орехи.

— Благодарю, чужеземный брат, — сказал он. — Да, мы гости. Не бродяги, — не так ли? — а солидные гости, благодарные великому хозяину благоустроенной гостиницы здесь на земле. Когда-нибудь нам придется уйти. Быть может, завтра же? (тут он зорко поглядел на Александрсена). Тогда великий хозяин подойдет со своим счетом и спросит: можешь ли ты расплатиться?

Настала мертвая тишина. Сердце Александрсена трепетало.

— Тогда бесполезно будет, дорогой мой, юный брат кантор, ссылаться, что мы несколько запутались в делах. Ибо как поступит в таком случае великий, таинственный хозяин? Что скажет? Что сделает? Об этом мы узнаем в ту ночь... в ночь воплей и плача раскаянья, знакомого нам всем, когда наступает неотвратимое... И деньги, которыми должны мы расплатиться по счету, суть наша вера и наше ученье. Поэтому лучше нам—пока есть время—поберечь их.

Все сжеились на скамьях, слушая эти властные и как бы угрожающие слова председателя. Лишь кантор, сам большой тактик, был достаточно умен, чтобы суметь отпарировать эту символическую речь. Он вскочил с эластичностью пружины и произнес:

— Благодарю, дорогой, возлюбленный председатель, за эти благодатные слова о дне расплаты. Да, берегитесь князя мира сего! Мы его знаем, увы! Он соблазняет своих гостей есть и пить больше, чем они в состоянии оплатить. И в конце концов они попадают к нему в кабалу... Воистину: он лукав. Он любит улыбки и льстивые речи. И не знает жалости! Нож его остер, когда он требует своего. Горе тому, кто не может уплатить ему по счету! Горе... Горе! Но из чистой купели крещения подымается более сильная рука. Она спасает быющую жертву и хватает его, ненасытного, и швыряет его в мрак крошечный.

Весь пылая от страстного волнения, стоял молодой негр со взором, отуманенным слезами, но все же следя вполглаза за председателем, наблюдая за впечатлением. Вся зала задыхалась от напряжения, была словно оглу-

шена. Молодой кантор как будто вверг их старого председателя в преисподнюю.

Но председатель не дал кантору времени упрочить свою победу. Он встал, властный и взволнованный, и схватил быка прямо за рога:

— Каждый камень, каждая доска в этом доме—мой... говорит господь! Войди в дом мой—каждый, хотящий мира. Для того и возжег я здесь светильники и осыпал вас дарами моими... говорит господь. Но прочь из дома моего каждый, хотящий войны, восстающий против имени моего. Прочь, во тьму ночную, к волкам! Ибо, чем были бы вы без меня... говорит господь.

Залу как будто окатили ушатом холодной воды: все сжеились и жевали сказанное. Они поняли, куда гнул председатель. Кантор, правда, пытался ответить:

— И на диких полях найду алтарь вечного и среди волков буду возносить ему молитву свою... и т. п.—Все напши, что это очень красиво, но что битва проиграна. Председатель выслушал кантора с жирной усмешкой, а потом пожал ему руку и поблагодарил за сердечное слово. Опять грянул псалом, очищая воздух, исцеляя раны, и—все устремились к дверям уже веселые, выплакав все свои слезы.

— Милая молодежь,—сказал председатель Александрсену, затворив дверь и спуская деревянную щеколду:—Высоко целит и низко садится. Мы, старики, все-таки еще старшие здесь!

ЛЮДОЕД

Но на пути к дому Александерсен вдруг взял председателя за пуговицу:

— Брат в персти! Что такое висит в кладовой?

Председатель.—Голубчик! Зачем говорить о вещах, которые сами за себя говорят?

Александерсен.—Человек! Вы убиваете людей!

Председатель.—Отнюдь нет.

Александерсен.—Вы закалываете своих братьев?

Председатель.—Спросите Нильса и Ганса.

Александерсен.—Вы потребляете человеческое мясо?

Председатель.—Не в моих интересах упразднить здесь старинные народные обычаи.

Александерсен отступил, вытаращив на него глаза, и вскричал:—Людоед!.. И вы—председатель Приходского Совета!

Председатель.—Религия и коммерция, голубчик... не будем путать этих вещей. Впрочем, я ведь никогда никого не неволю. Отнюдь нет. А кто же может запретить людям добровольно запродавать себя мне?.. Не будем наивными. Кто вообще безгрешен? Никто. И слава богу.

Грех учит смирению... облагораживает. Тогда как непогрешимость ввергает миллионы людей в ад... Боже мой, оглянитесь кругом. Органист занимается ростовщичеством. Надо же ему чем-нибудь жить. Секретарь Совета морит голодом жену. Это с его стороны нетактично, неумно и сильно вредит ему в глазах прихожан, но... как быть?.. А кантор? Вы его слышали. Знаете вы, что кроется за всем этим? Он ненавидит меня, так как вынужден был продать свои акции в моем деле, в моей гостинице, чтобы спасти свой публичный дом в переулке напротив. Ну-с?.. Громобой трижды уличен в ложной присяге. Вот и пришлось ему стать странствующим проповедником... и превосходным, не правда ли? И так далее. Большая часть нравоучительной болтовни—незрелый вздор зеленых юнцов, которые знают лишь самих себя. То-есть, в зеркале. Или это тонко рассчитанные, ядовитые тактические выпады, как выпады кантора, имеющие целью докнать экономического противника... Но, хвала господу: смертных покрывает благодать божья. Она может убедить нас всех паче снега. И кантора, разумеется... Да что, бишь, я хотел сказать?—перебил он себя.

Тем временем они уже дошли до крыльца «Вифлеема», где сидела, видимо, поджидавшая кого-то маленькая девочка и, увидев председателя, встала и с униженной улыбкой присела перед могущественным человеком.

— Самое лучшее будет прислать брату моему в номер пятый преис-курант, чтобы ему было чем руководиться. Как долго полагает брат мой прогостить у нас?—добавил он, пронизывая Александерсена своими налитыми кровью глазами.

Александрсен ответил, что собирается отправиться в путь пешком завтра утром.

— Пешком!—воскликнул хозяин.—Да, это значит прямо в волчью пасть! Раньше будущей недели почта отсюда не пойдет. Тогда мои дорогие гости могли бы отправиться вместе с «Громобоем».

Александрсен поблагодарил, но в мозгу у него молнией сверкнуло: «Чернокожий украл мой ковер и мои деньги! Теперь он подаст мне прейс-курант, а платить мне нечем. Бежать—значит быть пожранным волками... Остаться—угодить в кладовую»...

В харчевне чудесно пахло вареным и жареным: несколько негров уже сидели за столом. Но Александрсен не смел даже взглянуть на блюда, как ни был голоден. Он поспешил в следующую комнату.

Подслеповатый негр с разбухшим носом, пропив все свои деньги, хотел заложить хозяину свое мясо.

— Не очень-то его на тебе много,—с соболезнающим покачиваньем головы сказал хозяин, проводя рукой по плечам и рукам негра.

— Пошупай вот тут, пониже,—живо и покорно возразил бедняга, направляя руку хозяина.

— Ну, ладно,—согласился хозяин с добродушной улыбкой и, многозначительно кивнув головой Александерсену, велел буфетнице записать—сколько негр может еще пропить.

Остальные гости тупо смотрели на это.

К стойке сконфуженно-просительно подошел другой негр, геркулес, с красными глазами.

— Нет, погоди, дядя Симон,—крикнул хозяин, заглянув в книгу, и от всего сердца рассеялся.—Ты все забрал уже, дружок. И самое лучшее будет отправить тебя сегодня же... Барышня, дайте ему последний стаканчик и позовите Нильса с Гансом... Да, вот видите,—обратился хозяин к Александерсену,—вера, как алмаз, чиста сама по себе, хотя бы и ютилась в развалинах, как вот этот дядя Симон. Вера в нем чиста и сохранна, и в какие-нибудь двадцать минут он очутится в раю. А мораль, дорогой мой—оглянитесь кругом!.. Я сам преподаю в воскресной школе, и все они были моими учениками... Дядя Симон тоже! Все они мои возлюбленные чада... Но где же Нильс и Ганс?

Те явились.

Хозяин молча указал пальцем на дядю Симона.

Они взяли его под руки.

— Да, да, чистота учения и вера—все!—продолжал хозяин:—Без них как могли бы мы нести непосильное бремя жизни?

— Да, да,—сказал дядя Симон, выпил, удрученно поглядел вокруг и, поддерживаемый двумя сильными провожатыми, пошел, прибавив только:—Вы отошлете его рубаху и платье домой к нему?

— Будет исполнено, дядя Симон,—ласково ответил хозяин.—Самое позднее через полчаса. Барышня, позаботьтесь, чтобы узелок с платьем дяди Симона отослали домой. Впрочем, тут на крыльце, кажется, ждет его дочурка? Славная девочка. Положите ей в узелок ситный хлеб. Верно у них дома жидковато по части с'естного.

Александрсен тем временем следил, как двое молодых провели Симона через двор к заднему строению и помогли ему раздеться. Подручный мальчик стал завязывать платье в узелок, а служанки побежали из кухни с ведрами кипятку.

Быстро пожелал Александрсен всем спокойной ночи и кинулся к себе в номер пятый, где сидела, с'ежась, словно от зубной боли, Торбина.

На заднем дворе слышался топот, возня... донесся голос: «Берегись! Валю!» Наконец, раздался глухой удар и за ним протяжный вой, подобный глухому-вою сирены, который замер, словно захлебнувшись. А с колокольни приходского дома доносился вечерний звон.

Александрсен сидел еще долго, прислушиваясь к шарканью деревянных башмаков и гроыханью ведер о мостовую двора, к звукам мясницких топоров и ножей, что-то рубивших, кромсавших, свежавших.

Мрак сгустился. Звериный вой слышался совсем близко.

Чу! Снизу донеслось пение. Это председатель со всею своею семьей и челядью пел вечерний псалом:

«Ты подымаешь павших,
ты благодать несешь.
Ты слышишь всех воззавших,
ты грешным мир даешь.
Ты слышишь бури близкой вой,
ты видишь волчьи пасти;
прости же крылья надо мной,
избавь от всех напастей!...»

БЕГСТВО

Паника — великая животная горячка, бросающая в жар и озноб всякое живое создание, потрясенное грозною неожиданностью или предчувствующее новую смертельную опасность...

Овечья паника, — от которой кровь кипит, мысли останавливаются, все дикие силы плоти вырываются на волю, и каждый мускул дрожит в крайнем напряжении животной энергии...

Паника, — что гонит по лицу земли войну за войной, религию за религией, как холод и жар, и крутит людей, как заблудших овец, которые порвали самые крепкие привязи, испугавшись восходящей луны...

Паника, — животная горячка охватила Александрсена. Он дрожал всем телом, мысли его погасли. Ломая руки, бегал он по комнате, испуская стоны и жалобы... Оставаться или бежать?

Перед ним был почлег, за который ему нечем заплатить... в его желудке находилась пища, еще не соста-

влявшая его собственности... его окружали стены дома палача, где он был отдан на произвол бессердечия, тем более неуязвимо, что оно было заковано в духовно-религиозную броню. Через несколько дней его и Торбину схватят, как злостных должников, обманщиков, отведут на задний двор, и к зиме их головы будут болтаться под потолком, в кладовой.

Убегая от Общего собрания, он в какие-нибудь три дня дошел до столь позорного конца.

Александрсен корчился от стыда, страха и бесполезного гнева. Щеки его пылали. Дыханье было тяжелым и жарким.

Или бежать...? В кипящий волками ночной мрак!.. Быть разорванным в клочья этим лохматым сбродом, ему, с нечеловеческим мужеством рассекавшему воздух! Ему, улетевшему от мелочных дразг и пошлого уюта родного города! Ему, стремившемуся к высотам жизни, где пел свои гимны Леон Ахиллес, владыка сердца Мариорджии!

Лихорадка безостановочно сотрясала его тело вспышками слепых страстей и туманила разум. Но при мысли о душевой, тошнотворной мелочной жизни родного городишки душу его словно пронизило ледянящей морозною струей и поставило на дыбы его строптивое «я». Ни лихорадки, ни паники как не бывало. Он вновь обрел власть над своим духом и телом. Лучше кончить в слюнявой волчьей пасти или под ножом мясника, чем просить прощенья у жалкого прошлого. «Я ведь гость, только временный гость на земле».

Душа Александрсена выдержала борьбу и завоевала себе полное спокойствие. Он повеселел, его стало даже

разбирать любопытство: как это, должно быть, странно — быть заколотым, освежеванным и аккуратно разрезанным... черными ловкими руками! И где его заколют? Он сам с холодным интересом будет наблюдать за процессом своего заклания. Ничей презрительный взгляд с родины не остановится на нем в эту минуту. Как эта мысль благодетельна! Все совершится тихо и спокойно. Лишь испуганные глаза Торбины увидят это зрелище. А может быть, сначала заколют ее. Жуткая, но захватывающая будет картина. Наверно, она станет кричать и вопить во все горло, когда дойдет до этого. Куда денутся все ее благочестивые библейские изречения! Она забывала их каждый раз, когда попадала в беду. Александрсен положительно посмеивался про себя и, весело мурлыча, улегся, наконец, в постель.

Вдруг, где-то совсем близко, раздался громкий горячечно-дрожащий волчий вой, и волчьи шкуры разом запрыгали, забились на своих гвоздях.

Это еще что?!

Александрсен и Торбина, усевшись на постели, не сводили глаз с ужасных, неугомонных шкур, неистово рвавшихся со стены.

Ночь была бурная, и над крышей раздавались испуганные крики птиц. Они пролетали над проклятым домом стаями, борясь с бурей и смертью, испуская пронзительные горячечные крики. За этими беспорядочными криками угадывалось хлопанье бесчисленных крыл.

Вой замер, но птицы продолжали прибывать и пролетать длинными, бесконечными вереницами. Им не от кого было ждать помощи, кроме как от самих себя. Падая, они падали в голодную пасть или в мертвую бездну моря. Летели они, струдившись так тесно, что образовали свой собственный мир, собственную стихию, собственное спасительное провидение среди этого безжалостного ночного мрака. Они кричали, чтобы держаться вместе, разжечь в себе дикую, слепую, поднимающую ввысь горячку, заглушающую все чувства панику, которая и укрепляет, и заражает, и объединяет... С помощью этой паники они создавали себе собственное теплое небо иллюзий, которое брали с собой в этот бурный полет сквозь пропитанную несказанным равнодушием стихию ночи.

Около полуночи снова раздался волчий вой... на этот раз под самыми окнами. Снова затрепыхались, забились вальчи шкуры. И под влиянием всего этого ужаса и беспомощности, ликования, угроз и паники, слышавшихся в волчьем вое и в птичьих криках, Александерсену с Торбиной слышались слабые лихорадочные голоса из быющих на стене шкур: «Тело... тело мое... где мое тело?»

Торбина уже совершенно поддалась панике; Александерсен чувствовал ее приближение, как приближение готовой замкнуть его в свой круг, чужой, враждебной силы. Его тошнило от этой напряженной, судорожной силы, заставлявшей трепетать даже шкуры, и вместе с тем, он чувствовал все возрастающую, неодолимую потреб-

ность слепо ринуться туда, во мрак, забыть себя и свои мысли в диком вое, в горячке... и только существовать, бессознательно-радостно, в панике ликования, ужаса и тепла жизни.

— О, дайте нам свои тела,—жалобно молили шкуры,—хоть на год... на один лишь год жизни!

— Да, да, дадим, дадим!—воскликнула Торбина с пылающими щеками, кидаясь на шею Александерсену в «исступлении»—как бывало в великие панические «дни призыва» на сборища братства.

Но душевные обаяния Торбины отрезвили холостяка Александерсена.

— Фу!—прохрипел он сквозь этот горячечный вой, высвободился из объятий и с отвращением отплюнулся от шкур, которые с вождением тянулись к ним со стены своими лохматыми мордами. Лучше уж быть действительно реально зарезанным.

Во дворе грянул ружейный выстрел. Волчьи завывания вихрем умчались в степь, и шкуры вновь вяло, безмолвно повисли.

Торбина тихонько причитала, еще не оправившись от паники, но Александерсен, гневно фыркая и отплеываясь, вскочил, оделся и стиснул зубы в непоколебимом отпоре животным силам ночи.

Птицы непрерывно пролетали над крышей. Крики их звучали то безграничным ужасом и заброшенностью бегущих с поля сражения войск, то паническим ликован-

нием странствующих миров на пути в страну чудес, недоступную теперь Александерсену.

Около двух часов ночи на дворе раздался вой в третий раз, и снова завопили шкуры на стене:—Можно нам? Можно нам? Скоро придет мясник с ножом, скоро придет служанка с кипятком!

— Нет!—воскликнул Александерсен, бледный, как смерть, и велел Торбине одеваться.

— Нету тела, нету тела!—жаловались пустые шкуры, трепыхаясь.

В ту же минуту волчье завыванье проникло в самую комнату. Две волчьи лапы легли на подоконник, и морда сунулась в окно с воем, полным такой дикой энергии и паники, что Торбина неистово-восторженно завывала, а все нервы Александерсена затрепетали. Ему почудилось, что и воздух и земля, все это ликование и пение, и бегство—рождают ужас, жуть, которые, как волны, смыкаются над его головой.

— Можно нам? Можно нам?—вопили шкуры.—Только на год! На один год!

— Да!—крикнули разом, в полном самозабвении, Александерсен и Торбина. Словно две молнии, сорвались шкуры с гвоздей, набросились на Александерсена и Торбину, облекли собой, сдавили так, что у них кости затрепетали, обхватили их с дикой жадностью, стиснули с необузданной силой в форму двух крупных оцетинившихся волков. С громким, безумным воем животного страха перед четырьмя стенами выпрыгнули они в окно, выбежали на залитую лунным светом дорогу и помчались длинными прямыми прыжками в страшный волчий край, в таком

напряжении радости и жадности жизни, каких никогда и не знавали слабые старые нервы и мускулы Александерсена и Торбины.

Легконогие, распустив хвосты по ветру, неслись они сквозь сумрак ночи, а за ними мчалась целая свора старых знакомцев, завывая и подпрыгивая от радости встречи и лишь время от времени останавливаясь и подымая одну ногу по направлению к богоспасаемому деревянному поселку, где на перинах сложив набожно руки, окруженный своей верной, волосатой пастью, спал председатель Приходского совета.

В ЗВЕРИНОЙ ШКУРЕ

Впоследствии часто раздавались в обществах и собраниях по адресу Александерсена и Торбины самые неистовые упреки за то, что они не оказались героями, не пошли с поднятым челом на мученичество, но в горячке минутных страстей дали увлечь себя на целый год звериного, дикого и низменного существования.

Торбина никогда не скрывала своего глубокого раскаяния и сокрушения по поводу немощности и животной низменности своей плоти, чем и стяжала себе большое сочувствие и симпатию.

Александерсен, напротив, всегда обнаруживал какой-то странный протест, замыкался в гордом безмолвии и лишь изредка давал вырвать у себя кое-какие сообщения по этому поводу.

Именитый художник, близкий друг и почитатель Александерсена, а также друг и портретист Леона Ахиллеса, президент Академии, экстраординарный статский советник, профессор Янван-дер-Коппердинген скрепил своим знаменитым именем следующее признание самого Александерсена (см. «Мемуары Коппердингена», т. II, стр. 127):

«Время моего волчьего бытия образует провал в моем сознании... но такой, из которого, я чувствую, выросли здоровье и таинственная укрепляющая сила. Объяснение предоставляю другим».

Уриан в своем труде, посвященном памяти Александерсена (напечатан в «Знаменитых личностях», т. III, стр. 289) передает следующий разговор:

«И Вы не помните ровно ничего?»—«Нет».—«Были ли вы счастливы или несчастны?»—«Не могу ответить на этот вопрос».—«У вас нет никакого представления о прошлом?»—«Нет».—«Ни о каких отдельных случаях?»—«Нет. Моя жизнь сводилась к непосредственным, само собою разумеемым действиям. Один ветер выгонял нас из логова, другой загонял обратно».—«Вы ничего не помните о той минуте, когда волчья шкура облекла вас?»—«Нет».—«Может быть, вы как бы лишились сознания?»—«Нет, не думаю; скорее наоборот. Как-будто все стало яснее... Как-будто у меня из ушей вынули вату, с глаз сняли пелену...»—«И никаких размышлений?»—«Никаких!»—«Никаких воспоминаний?»—«Никаких».—«Вы, может быть, и не сознавали, что стали волком?»—«Может быть».—«Может быть потому, что вы никогда не думали об этом?»—«Абсолютно никогда».—«Вы никогда не думали о самом себе?»—«Вероятно, никогда».—«И никогда ничему не удивлялись?»—«Никогда. И для меня так же ново и неестественно разговаривать об этом, как о моих ежедневных отправлениях».

Генерал Тюрко пишет в своих весьма известных «Письмах к дочери»:

«Невозможно заставить этого человека разговаривать

о своем волчьем бытии. Это не чувство неловкости или конфуза в обычном смысле, а скорее природная неохота (она всем нам свойственна) говорить о том времени, когда мы попросту существовали, т. е. не возились с собою и не лепили из наших впечатлений позднейших настроений, которые застревают в нас, как ревматизм, но сразу хватали эти впечатления и сжигали до тла в быстром «огненном» действии—как солдаты в бою, например».

Нечто подобное пишет и княгиня Калт в своих «Дневниках». (Народное издание, т. IV, стр. 7):

«Статский советник, вышеупомянутый Коппердинген, все-таки ужасно глупый старик. Это видно из того, что он вечно говорит о себе самом, как тот, кто, истощив свой гений в 12 книгах, остался сидеть с собственным своим высоким мнением о себе и восхищением собою. Да и все мы, пожалуй, такие же—отжившие, полувывродившиеся твари, вымотавшие из себя животную силу и потому занятые теперь открыванием своих достоинств. Добрый Александерсен прав, что не желает говорить о своих волчьих днях, сколько его ни выпытывают, ни обнюхивают... Разумеется, он просто стесняется сознаться, что это единственное время, когда он жил, жил, а не пустословил. И я, старая фефела, прожив свою жизнь (почему и сижу теперь, да пишу свой дневник для других старых фефел),—нахожусь в таком же положении: и я не хуже портного знаю, что у меня была своя волчья пора, и что это единственная пора моей жизни, когда я жила по настоящему—боже избави меня только рассказывает об этом!»

ПРОБУЖДЕНИЕ

И жизнь природы слепо шла своим порядком. Настала зима, потом весна, потом прошло и лето, и по ночам стал оседать иней.

Волчьи логовища находились в пустынном лесу, в древних развалинах. Там высечены были из камней изображения самых причудливых демонов и богов. Для волков это были просто каменные глыбы.

Волки грелись на солнце, раскинувшись на коленях сидящих херувимов; мочились в лики могучих богов; терлись, выгоняя из шерсти блох, о стены храмов, покрытые священными письменами и глубокомысленными изречениями. Другие играли на луговине или обнюхивали последние остатки костей и голенищ—остатки последних своих трапез.

Крупный волк теребил мраморно-серую сумку из тюленьей кожи, с семью ремнями. Из сумки выскользнул странный предмет. Волк с большим любопытством стал подкидывать его мордой.

...Предмет был из железа...

...звякал...

...лязгал...

...состоял из двух скрещенных лезвий...

...с ручками...

Волк обнюхивал, сопел, затаивал дыхание, жадно, с шибко бьющимся сердцем... Что-то работало ощупью в его беспомощном мозгу, словно мнимо-умерший старался приподнять гробовую крышку...

...Н о ж н и ц ы! Это были н о ж н и ц ы!

Волк дико грыз их клыками, и вдруг в его сознание стали откуда-то карабкаться другие мудреные слова и смутные представления: наперсток... рабочая корзинка... верстак... два окна... около одного стоит сосед...

Волк готов был обезуметь.

Подбежала волчица, обнюхала ножницы... хотела утащить их... Волчья ярость мгновенно кинулась ему в голову... он кинулся на волчицу, укусил ее в шею, схватил ножницы и принялся таскать их, греметь ими с рычаньем фанатика, а странные видения непонятным образом так и всплывали перед ним среди этих волчьих логовищ.

Он потирал голову лапами, чтобы не обезуметь от недостатка прочного фундамента для своих разрозненных представлений, обжегал, как шальной, с пеной у рта, весь волчий круг, завывая от страха и жуты, словно предчувствуя что-то неотвратимое... и вдруг в какой-то отвратительной судороге мозга разом родилась истина: «Я—Александрсен, и я—гость среди всего этого».

Он пластом повалился на землю и стал озираться вокруг.

Деревья как-будто стали приземистей, небо спустилось

ниже, волки показались отвратительными, мелкими, логово—грязным, вонючим.

Волчица вернулась, лихорадочно-возбужденная, одуревшая, и на этот раз овладела ножницами и принялась носиться с ними, как иступленная.

Александрсен вдруг обратил внимание на ее диковосторженное завывание, и его осенило:—«Боже... да ведь это Торбина!..» Вместе с тем, у него явилась другая мысль. Насколько для Торбины, с ее обширной духовно-религиозной программой основных положений и систем, этот переход от существования двуногого к четвероногому и обратно был легче, нежели для него, у которого все духовное развитие завершилось и сплывилось в один анархически-свободный вывод: я—гость среди всего этого хаоса, и больше я ничего не знаю.

Он приблизился к ней и прошепел ей в ухо:—Торбина!

Она залпрыгала с ножницами в клыках и завывала:—О, счастливое, счастливое время!

Александрсен подумал при этом свое, но промолчал. А после заката они с Торбиной вдвоем галопом мчались по дороге между пустынными равнинами и лесами... к югу, все к югу... сквозь желтеющие кусты, по заиндевевшим кочкам... к людям, в счастливые края цивилизации.

Приближалось полнолуние, день проходил за днем, они все мчались вперед, через болота и чащи, подымаясь на горы, где лежат снег и, наконец, однажды вечером достигли высочайшей вершины, где лес кончался.

Волчий год истек, и наступило как раз полнолуние.

От опушки сосняка проползли они по снегу до края обрыва и, возарившись вниз, словно окаменели.

Под ними леса и пропасти, пропасти и леса. Дни и дни пути... но там далеко-далеко они смутно различали море, берег, тусклые огни. Там, далеко-далеко улавливали они чутким слухом шум водопада, могучего древнего потока, отделявшего дикие пустыни от обитаемых людьми областей; оттуда тянуло слабым запахом и дымом жилья; подняв кверху влажные морды, они втягивали его в себя.

Полная луна взошла и, когда ее первые яркие лучи коснулись волчьих шкур, эти шкуры треснули, и Александерсен с Торбиной выкатились из них. Вне себя от радости освобождения, они крепко обнялись. А волчьи шкуры крутились и обвивали одна другую, как раненные змеи, и вопили:—Холодно, холодно—и хлестали снег и сухую листву на скале в своем отчаянном старании сохранить в себе жизнь и жизненное тепло.

— О, дайте нам себя опять!—кричали они:—Хоть на месяц, хоть на полмесяца, хоть на неделю еще!

— Нам еще долгий путь, Торбина,—сказал Александерсен убедительно,—придется, делать нечего.

— Разумеется,—прошптала Торбина, отвернувшись, и вся багровая.—Не стоять же нам тут да зевать.

— На неделю!—крикнул Александерсен шкурам.

— Скорей же,—прошптала Торбина, топая и озираясь вокруг—не видит ли кто, как она подставляет шкурам спину.

И в тот же миг теплые еще шкуры вихрем налетели на них, жадно облепили, стиснули, запаковали опять в волчий футляр и помчались дальше.

И похоже было, что эту последнюю неделю волчьи

шкуры хотели прожить полнее, необузданнее, чем когда-либо.

Никогда не прыгали они выше, не выли так горячело, не бегали так безумно, не умерщвляли так безмерно. Они отняли у Александерсена и Торбины всякий ум и всякое чувство.

Неделя пролетела, как кровавый сон, в необузданной жизни на свободе, в горах. На восьмой день волчья пара устало припелася к водопаду, грохот которого они с каждым днем слышали все ближе. Они сползли вниз к реке и дымящейся пастью жадно напились из нее, как пилигримы пьют из Иордана. Затем ползком укрылись в кустах, чтобы дожидаться луны.

Часы бежали, и неустанно бурлила мимо река, унося вырванные с корнем кедры и утонувших носорогов под гигантский, головокружительно высокий мост и дальше в тропические страны.

Солнце село. Взошла луна.

В тот же миг волчьи шкуры сползли с них, туго, неохотно. Ох, как они жалостно корчились и ползали по земле... ощупью... пытаясь ожить...

Найдя камень или сук, они цеплялись за него, пытались одеть его собой, но камень был холоден, сук мертв, и они после двух-трех тщетных попыток упали в изнеможении, молча, болезненно обвили одна другую под кустами, судорожно дернулись еще несколько раз и вскоре совсем затихли.

Роса стала на них инеем.

Досыта пожившие, усталые заснули шкуры волчьих короля и королевы.

Но Александерсен озирался вокруг широко раскрытыми глазами. Краски как-будто потускнели, звуки стали глуше, и бурная кровь в жилах замедлила свое течение.

Зато, наконец-то, они стояли у цели, у благословенной цели.

Они оправили на себе одежду; Торбина пригладила свои волосы, и, обуреваемые благодарностью, перешли они, почти стыдясь своей поспешности, через мост, перекинутый над водопадом, а оттуда уже более свободной, прямой поступью двинулись дальше, мимо невзрачных охотничьих шалашей вниз, в обитаемые, людные края.

КНИГА ВТОРАЯ

Ты спишь, лорд Байрон? Пробудись, коллега!
Своим истлевшим ртом меня поздравь!
(Твоя сияет слава, словно Вега,
но и меня взыскало небо в'явь).
Сейчас герой, несложный, как омега,
по мосту сказки перейдет, представь,
в мир современности. Герой с иголки «новый» —
портной, и плотью и душой здоровый.

Вот он идет, исполненный смиренья,
и добросовестно оглядывает свет.
О, честная душа! Его все помышленья:
жизнь ровная, без бурь, без лишних бед.
Как он старательно обходит затрудненья!
Что ни морщинка — нежность и привет.
Он осторожен, как лесной зверюшка,
И по пятам за ним трусит его подружка.

Смелей, мой друг! На цель свою гляди ты!
И радоваться можешь всей душой.
Вон берег, где искать тебе защиты
в кругу — хоть этот круг тебе не свой —

в кругу людей великих, именитых.

Как мало кто из малых, взыскал ты судьбой:
из будничной трясины быть поднятым
к сверхчеловекам, в горние палаты!

И чу! Навстречу нам из-под порталов
несется гул торжественных имен!

Глядят великие с высоких пьедесталов
на волны бесконечные времен,
где крупные ныряют с дерзостью порвалов
и гнить на дне люд мелкий обречен.

Высоко над землей, где толпы черни преют,
носы из мрамора бессмертные белеют!

О, грезы матерей, в своих объятьях
лелеющих младенца сладкий сон:

Иосифом да будет он из братьев
на пьедестал бессмертных вознесен!

Ведь чудится не всем ли без изъятья,
что вкусят самый сладкий жребий он,
вкушая мраморной нятою поцелуи
глушцов-зевак, ему поющих аллилуйя!

О, детки, к окнам льнущие носами,
чтобы узреть бессмертных хоть глазком,
упейтесь ночью сладостными снами—
что некогда, под музыку, шажком
проследуете в круг богов претавжно сами.

А если полетят те грезы кувыркoм,
займете место первое средь ротозеев—
усердных посетителей музеев!

ГДЕ ШЕЛЕСТЯТ ПАЛЬМЫ...

Сверху, из звериных лесных чащ, доносилось завывание бессловесных и грохот водопада в ночной тиши. Александерсен и Торбина с детской радостью спешили вниз по скалистым ступеням в город, расположенный на теплом берегу... Ступень за ступенью—все теплее, меньше ветра, больше ароматов...

Мимо ряда невзрачных охотничьих шалашей, вышли они на широкую шоссеиную дорогу, обсаженную шелестицами пальмами; дорога вела к блаженнейшему из берегов земных.

В груди Александерсена вскипала радость и признательность: вырвался-таки из волчьих краев, из звериных краев, из этого вонючего существования, полного свирепой жадности и звериной похоти, из жизни, где клюв точитя о клюв, коготь о коготь! В каком-то самозабвении тихо склонил он колени и облобызал красивые, блестящие плиты, от которых веяло ему в лицо теплом, справедливостью и тысячами шагов человеческих.

Спускавшиеся террасами по обе стороны дороги виноградники кончились, и путники достигли квартала рос-

кошных вилл. Важно высились они над городом и пытались даль, глядя поверх луннооструйного моря и спящего городка—с гигантскою статуей Будды в центре—осененного пальмами и бананами, напоенного благоуханием и защищенного от ветров.

Из празднично-освещенного палаццо неслись звуки флейт и скрипок. В саду журчали ночные фонтаны. Цветнокожие слуги—негры, малайцы, китайцы сновали между статуями и колоннами, а за решеткой сада толпился народ, голова к голове, и слушал.

С неописуемым чувством уверенности и радости вновь вдыхал в себя Александерсен людской запах; эта шумная, смеющаяся толпа человеческая почти ошьяняла его. А роскошное палаццо!? Колонны, лампы, лестницы, ковры!..—Кто владелец всего этого великолепия?—Дама, знатная госпожа. Княгиня.—Какая княгиня?—Катт... княгиня Катт! Кто он такой, что не знает этого! Александерсена прямо в жар бросило от благоговейной гордости и радости. Он стоял перед виллой княгини Катт, он сам, своей рукой трогал решетки ее ограды! Та, чьи брызжащие счастьем романы вносили праздничное настроение, остроумие и блеск в бесчисленные миллионы монотонных будничных жизней... она обитала здесь! Его озарял отблеск ее праздничных огней.

На террасу вышел бесформенный толстяк. В пародной толпе началось веселое перешептывание. Толстяк не мог не слышать этого. Но улыбка не трогала его губ с опущенными углами. Напротив, он так бесцеремонно повернул свой корпус, как-будто вся эта садовая толпа внизу была кучей мертвых костей. Перешеп-

тыванье и веселье все росли. Что такое они шепчут? Александерсен обернулся. Имя... Коппердинген! Статский советник! Возможно ли? Ван-дер-Коппердинген! Да, это он самый. Живой во плоти. Знаменитый портретист и друг Леона Ахиллеса и Мариорджии. Это он стоит там, толсто-пузый и массивный, в шелковом плаще, перед чадающим смоляным факелом, задумчиво кусая седеющий турецкий ус, свисающий на мягкий отложной воротник художника, как и его жирные надутые щеки.

Сердце Александерсена забилося живее. Он испытывал все напряжение ожидания, как ребенок утром в сочельник.

Какой-то высокий человек быстро шагнул к статскому советнику. Словно буря прошумела в толпе. Александерсен едва верил своим глазам и ушам. Он привстал на цыпочки и глядел—глядел сквозь слезы. Да, это должно быть верно! Эти глаза, черные, миндалевидные, эти густые брови дугой, и шелковая красная шапочка с кисточкой, падающей на бок, скрывая из-ял—недостающее левое ухо... это Леон Ахиллес, одноухий полубог мятежа, Леон с бурным сердцем.

Он положил руку на плечо статскому советнику. Он, видимо, горячился, хотел уходить... За ним вышел жирный и лысый человек в золотых очках. Леон указал ему на дверь, видимо, приказывая ему уйти. Человек в золотых очках, улыбаясь, спокойно покачал головой. Статский советник хотел что-то сказать. Глаза Леона метали искры. Он выхватил из кармана бумагу и швырнул ее к ногам человека. Статский советник быстро поднял ее,—

пораженный ужасом, отдуваясь,—разгладил и заставил Леона взять.

Затем выбежала статная дама, шурша шелками. «Княгиня! Княгиня!»—запыхивали кругом. Ее мягкая ручка ложилась на плечо то одному, то другому. Она улыбалась одному, смотрела со слезами на другого. И, наконец, победоносно увела Леона обратно в ярко освещенную залу. Статский советник и жирный человечек в золотых очках тоже двинулись туда.

Александрсен стоял, как во сне, весь уйдя в созерцание происходившей на веранде сцены—в экстазе, в самозабвении. Он был свидетелем одного из бурных переживаний, рождавших гордые песни Леона; своими глазами видел одну из величественных сцен, какими столь богаты книги княгини Катт. Мысли Александрсена перешли к Мариорджии, женщине из женщин, героине романов княгини и поэзии Леона. К Мариорджии, божественной Мариорджии, кончившей домом для умалишенных... Он шептал трогательные стихи Леона:

Куда ж покатилась, качаясь,
карега, закрытая...

— Мариорджия... жива еще?—спросил он соседа.

— Жива ли?—завопил тот:—Жива ли Мариорджия! Господи, да она тут сегодня, она царица праздника. В честь ее-то княгиня и дает этот сказочный бал... По случаю возвращения Мариорджии.

Вдруг людское море восторженно забурлило и зарокотало, загревели аплодисменты.

Все лица поднялись кверху.

На крыше, на плоской, обнесенной перилами крыше, показалась маленькая женщина в белом, одинокая и безмолвная, сложив на груди бессильные руки.

Это была Мариорджия.

Три года отсутствовала она, три года молчала—после своего исторического разрыва с Леоном Ахиллесом. Теперь она стояла тут, возбуждая общий восторг. Выскочила княгиня и нежно заключила ее в свои объятия. Но Мариорджия не хотела идти вниз. Она будет петь... петь.

Весь дворец пришел в волнение. Гости устремились на балконы, на крыльца, чтобы не упустить ни звука.

В ночной тиши заструились вокруг акаций и олеандров волнующие аккорды оркестра. И вдруг наступила такая тишина, словно заслушались самые стихии: Мариорджия запела... запела своим необыкновенным, ликующе-рыдающим или рыдающе-ликующим голосом. В эту песню как-будто вложена была ночная душа всего творения, поверявшая почти и вечности тайну своего ликования и отчаяния—устами вот этой одинокой, маленькой женщины в белом, стоявшей в детски-скромной позе на белой крыше, под звездным небом.

С моря слышался шум и треск. Это слуги княгини пускали с плывущих лодок ракеты. Со свистом влетали золотые метеоры и рассыпались трескучим дождем нестрых падающих звезд среди благоухания ночи, такой безмолвной, притихшей после песни Мариорджии.

Александрсен с Торбиной брели по тихим, спящим улицам. Флюгера повизгивали в ночном воздухе, крендели булочников и вывески цирюльников тихонько

поскрипывали, а из бесконечных рядов окон слышались мерные вздохи обывателей, сливавшиеся в одно безмятежное дыхание—как-будто дышал самый город, берег, весь мир в блаженнейший свой час.

Торбина хныкала. Все гостиницы были заперты, да и денег у них не было. Спустившись на берег, они присели на большие камни и час за часом слушали протяжное бульканье и журчанье прибрежных струй, в которых как-будто слышались отголоски пения Мариорджии...

Торбину опять одолевали тревожные мысли—сомнение в своей безопасности, тревога о будущем—как и на ковче-самолете, и в доме негра...

Александрсен в самозабвении отдавался блаженству минуты.

Он рад был бы просидеть тут всю ночь, встретить утреннюю зарю на *берегу Леона*, но Торбина не дала ему покоя, и они опять стали бродить по спящим улицам.

На большей площади, среди жалких лачуг и раскидистых пальм, сидел составлявший гордость города, прославленный стихами Леона, гитантский Будда.

Сумраком отдыха,
грезой повит...

Темный и могучий, сложив руки, восседал он в вечной сладкой полудреме, в забытии созерцания, глядя вдаль на мосты и горы, на светлеющее море с темными рыбацкими парусами.

Сердце Александрсена замерло.

— Вот он, портной!—крикнул ночной прохожий высокого роста, державший под руку толстяка в плаще.

Александрсен вздрогнул... Неужели его узнали?... Но затем он увидел, что прохожие смотрят на Будду.

— Это что же, портрет?—спросил он их, указывая на статую.

— А вы художник?—прогнусавил толстяк, разглядывая шляпу Александрсена.

— Нет, я портной,—ответил Александрсен.—И мне слышалось, что вы назвали его «портным».

— А вы не видите разве?—крикнул высокий:—Ведь он сидит на верстаке и шьет.

Затем они, смеясь, повернулись и ушли.

— Ты делаешь из себя посмешище!—прошипела Торбина, но Александрсен узнал двух ночных прохожих. Это были статский советник и Леон, «черный Леон», сам Леон Ахиллес. Он стоял от него в двух шагах. Перекинулся с ним словами.

Блажен ветер, колышущий пальмы на этом благодатном берегу, где живут и дышат великие гениальные люди! Благословенны гнет, гонение и бегство, приведшие Александрсена сюда, куда стремился он каждой каплей крови! Блаженна пыль, смиренно хранящая следы ног того, чье пылающее сердце обрело бессмертие среди миллионов земных обитателей!

И никогда ремесло портного не казалось Александрсену прекраснее, чем здесь, перед лицом отдыхающего с поджатыми ногами Будды. Леон насмехался,—Александрсен отлично понял это,—насмехался и над Буддой, и над портным, и над портняжеством; ну, и пусть его. Александрсен сам лучше всех знал свое ничтожество в сравнении с ним.

В лацкане его куртки была воткнута его прилежная иголка. С ее помощью он скромно и радостно будет зарабатывать себе кусок хлеба на этом берегу, где веют и шелестят пальмы, у ног этого Будды, у ног всех великих, чьи дарования куда выше его способностей, чьи сердца быются сильнее его сердца. С него довольно глядеть на них, созерцать их деянья—в самозабвении, с немой улыбкой, подобно Будде. Вон он сидит на своем троне в этом бедном квартале, высоко над пылью и прахом, спокойный и кроткий, и словно спивает покров мира и покоя для души, для зябнувшей, робкой человеческой души.

Сторож указал им приют—полураскрытую лачугу, дававшую кров бездомным путникам. Мыши шуршали в соломе, и Торбина долго сидела в отчаянной тревоге, стуча и пугая их. Александерсен же сразу погрузился в блаженный покой. Ручеек журчал родной мелодией, пальмы баюкали его своим шелестом, как баюкали в течение многих лет в сонных его грезах, а над Буддой сияло знакомым с детства блеском великолепное созвездие Ориона.

ВЫВЕСКА

Следующий день стал решительным днем в жизни Александерсена, этот день высоко вскинул его над толпой человеческой.

Произошло это так.

Проснувшись утром, Александерсен увидел двух обезьянок, занятых исследованием его одежды. Он шелвельнулся—они так и прыснули в разные стороны.

Александерсен от души рассмеялся. Это было забавнее всякого представления в цирке, когда-либо виденного им за деньги.

Но Торбина, несмотря на то, что всегда безумно любила ходить в цирк смотреть обезьян, завизжала в страхе и отвращении. Гадже этого она в жизни своей ничего не видывала! И, вне себя от страха, она рвалась прочь отсюда, прочь, подальше от этого ужасного места.

Александерсен пристыдил ее:—Мы ведь на блаженнейшем из берегов земных!—Он стоял на пороге и смотрел: утренний блеск слепил глаза, пальмы шелестели, попугаи кричали над кровлей лачуги, а перед дверями, как

живой, возвышался во всем своем улыбающемся величии и святости знаменитый Будда.

И все обиды заснули,
затихла всякая скорбь!

(Леон Ахиллес: ода XVI, стих 3).

Александрсен показал Торбине на старого кривошею поденщика. Весь в поту, запыхавшийся, тащился он мимо Будды со своей тачкой. Приостановился, с кислым и недовольным видом, вытер слюнявый перекошенный рот и слепо, тупо уставился в землю. Две валные барыни, чуть не лопаясь со смеху посреди площади, стали снимать с него фотографию.

— Гляди, Торбина, — сказал Александрсен, — как этот, кислый и потный, проезжает мимо пальм и всего великолетия, закрыв глаза и уши на все, становясь посмешищем для всех, так и ты способна топтаться в раю, даже не подозревая, где ты, и способна найти даже на небе дюжину досадных забот.

Но Торбина так-таки и не видела ничего райского в их теперешнем положении.

— И что мы будем есть? — шипела она. — У нас ни гроша в кармане. Вот как ты хорошо устроил!

Александрсен рассмеялся. Перед порогом в изобилии валялись финики, осыпавшиеся с пальм над его головой.

Глаза у Торбины засверкали; ее разбирала досада на то, что факты оправдывали Александрсена. Финики были ее любимым лакомством. Дома у нее всегда был припрятан в шкапчике запас самых лучших и дорогих фиников,

которые она жевала, подходя. А вот тут они прямо валялись — ешь, кто хочет, задаром; валялись в пыли, перед порогом, как дома у них сухая листва. Их положительно было слишком много, чтобы она могла считать их лакомством.

Два финика вдобавок прилипли к каблукам Александрсена, с десятков прилипло к колесам тачки поденщика... и даже собаки могли обнюхивать самые лучшие из них.

Словом, у нее и слюнки перестали течь — так много здесь было этих фиников.

Александрсен же весело набрал их полный горшок и поставил на стол перед нею. Тут она услышала крики и раскатистый хохот кучки мальчишек.

Торбина так и вскинулась. Когда смеялись, ей непременно казалось, что это над нею.

Мальчишки видели, как Александрсен подбирал финики. — Глядите! — кричали они: — Вот нищие! Едят финики!

— Нам питаться, как нищим? — закричала Торбина и так толкнула горшок, что финики рассыпались.

— Ты даешь командовать собою таким щенкам! — рассмеялся Александрсен и преспокойно наелся досыта сочных крупных фиников, предоставив Торбине важничать и обижаться натошак.

Ей было обидно, что она голодна; обидно, что он был виноват в ее голоде; обидно, что ему случайно так легко было насытить ее; обидно, что финики, так некстати оказавшиеся здесь, были как раз ее любимым лакомством; обидно, что портной так бесцеремонно поседлал их на ее

глазах; обидно, что мальчишки насмехались; обидно, что Александерсену не было обидно; обидно, что он был прав, считая, что тут не на что обижаться... и, наконец, ей было обидно, что ей вообще обидно зря.

Потом Александерсен отправился в город, нашел кое-какую работу, пошел и к вечеру уже заработал столько, что мог нанять лачугу на несколько недель.

— Эту лачугу!—завожила Торбина.—Нам жить в такой нищете, в таком убожестве! (В его отсутствие она наелась фиников до икоты.) Уж не шататься ли нам прямо по улицам, как прочие?

— И это ты говоришь?—сказал Александерсен.—Не твоим ли любимым псалмом было:

«Будем мы бродить под пальмами»...

— Я девушка, и девушка порядочная,—отрезала она,—а не замужняя женщина...

— Так давай поженимся,—предложил Александерсен, ковыряя в зубах соломинкой.

Торбина даже затряслась. Тяжело, когда тебе заткнут рот исполнением твоего заветного желания.

— Пожениться!—закричала она:—Без ничего, без мебели, без дома, без гардероба!словно пара прохожих или заезжих гостей!

— Да ведь так оно и есть,—сказал Александерсен задумчиво.—Так и было написано у тебя на старом кофейнике.

— То дома!—кричала Торбина.

— Можно и тут сделать такую надпись,—сказал он.

Торбина, не говоря больше ни слова, стремительно вышла из лачуги.

Дверью она не хлопнула, так как дверей, собственно, не было, но в сердцах бросилась стирать белье в ручье.

Взгляд Александерсена упал на стоявшую тут же старую доску, очевидно, вывеску. Он взял ее и, укрепив над входом в лачугу, написал на ней мелком:

Я гость на земле.

«Пусть теперь смотрит!»—подумал он, смеясь, взял в руки иголку с ниткой, сунул в рот финик и, весело насвистывая, уселся под своей вывеской за шитье.

||

АЛЕКСАНДЕРСЕНА ОТКРЫВАЮТ

В роскошных виллах и палаццо на горных склонах над городом проживал ряд величайших мировых знаменитостей: Леон Ахиллес, Мариорджия, генерал Тюрко, статский советник ван-дер-Коппердинген, экс-президент Мельба, Куриан, Уриан, княгиня Катт, епископ Ассер, Ренда, Капелла, Каппи, Сорман и многие другие, чьи имена известны каждому уличному мальчишке в цивилизованных странах.

Бедными юными талантами набрели они на этот берег и поселились тут нахлебниками в хижинах рыбаков. Отсюда они завоевали себе имена и состояния, мировую славу и колоссальные богатства, и один по одному свили себе, подобно орлам, гнезда на горных склонах.

Там они жили в своем обособленном мире, но их часто видели внизу, на улицах города Будды, по которым они бродили в вечной своей погоне за оригинальными сюжетами.

Им и не долго было открыть Александерсена.

Пальмы шелестели, попугаи кричали, и время от времени шлепались с пальм финики.

Александерсен сидел на утреннем солнышке под своей вывеской и чинил жилетку водоноса, веселый и радостный, как в раю.

Он как раз добрался до весьма интересного места в левом кармане жилетки, как вдруг прямо перед его лачугой остановился жирный человек, в золотых очках, и с большим интересом начал переводить глаза с фиников на дерево, на финики, валявшиеся на земле, и затем на финижи, лежавшие в бумажке перед Александерсеном. После того он посмотрел на самого портного, поднял глаза на вывеску, опять опустил их на портного и снова поднял на вывеску.

По лицу его мелькнула улыбка. «Вот оригинал!» подумал он.

— Послушайте!—сказал он, указывая палкой на финики в бумажке:—Что это у вас тут, а?

— Финики,—ответил Александерсен, подымая на него взгляд.

— Вы их едите?—спросил тот с удивлением.

— Ну, да,—ответил Александерсен с таким же удивлением.

— Их можно есть?—спросил тот.

— Чудесное кушанье!—сказал Александерсен.

«Он страшный оригинал!»—подумал человек в золотых очках и осторожно соскреб финик со своего каблука.

— Но ведь вы их кипятите сначала?—спросил он.

— Конечно, нет,—ответил портной.

— И не чистите?—продолжал спрашивать тот.

— Я всего охотнее ем их, каковы они есть.

— А там у вас, кажется, хлебные корки?..

— Да, это хлебные корки.

— А с ними вы что делаете?

— Делаю... Ем!

— Едите!—воскликнул тот.—Корки?.. Сухие... без масла?

— Да,—сказал Александерсен,—корки самое вкусное в хлебе.

Тот засмеялся клокочущим смешком и опять перевел глаза с портного на вывеску. Такого оригинала он еще не встречал никогда!—Что это вы там написали? «Я гость на земле». Что вы хотите сказать этим?

— Хочу сказать, что я—гость на земле.

— Гость! Оригинально!—промолвил тот.

— А вы разве не гость тоже?..—спросил Александерсен.

— Ну, пожалуй, и я тоже, конечно,—согласился тот.— Но для чего вы повесили это над своей дверью? У вас было какое-нибудь основание?

— А вы что-нибудь имеете против этого?—задал вопрос Александерсен.

— Я? Ровно ничего,—ответил тот.

— Так вы думаете, другие имеют что-нибудь против?—спросил Александерсен.

— Отнюдь нет,—сказал тот и засмеялся.—Наоборот. Я, кроме того, не постоял бы за ценой, если бы вы согласились вышить мне эту самую надпись на моем носовом платке. Согласны?

— Согласен,—сказал Александерсен,—но сначала мне нужно кончить эту жилетку для водоноса.

— К чорту водоноса!—возразил тот.—Я щедро заплачу вам!—И он положил на стол золотую монету.

— Я обещал водоносу,—сказал Александерсен.

— Два золотых!—настаивал тот.

— Будет, как я сказал,—ответил Александерсен.

— Пять золотых!—предложил человек в золотых очках.

Александерсен не стал больше и отвечать, продолжая себе шить, но тут-то человек в золотых очках и расплился.

— Десять золотых!—крикнул он и, когда вышла Торбина, не напрасно апеллировал к ее рассудительности.

— Слушайте, добрая женщина,—сказал он,—урезоньте своего муженька. Я заказываю ему за десять золотых вышить мне надпись на носовом платке вместо того, чтобы сидеть и чинить рваную жилетку для вшивого водоноса.

— Боже ты мой,—сказал Александерсен,—я ведь обещал ему... И кроме того, денег у нас на наши нужды хватит.

Тут-то Торбина расходилась. Дурак! Жалкий нищий! Невежа! Что он воображает о себе!

«Попугаев ей все-таки не перекричать», подумал Александерсен, спокойно продолжая шить и с одинаковым удовольствием внимая и журчанью ручья, и крику попугаев, и брани Торбины.

На следующий день, пожаловал на площадь Будды сам—ошибиться нельзя было—сам Леон Ахиллес и оставился как раз напротив портного с его странной вывеской.

Целых три часа просидел он в беседе с этим замечательным провинциальным портным, который занимался портняжеством ради собственного удовольствия и знал все стихи Леона Ахиллеса с начала до конца. Леон отведал фиников портного, напился из его кружки и лишь на зыкоте солнца встал и простился.

Александрсен же остался сидеть растроганный. Всей его долгой, бедной событиями жизни на родине как бы не было; вся ее горечь и скука были как-будто стерты одной улыбкой. Леон, его обожжаемый герой, сидел у него, Леон, с великим, буйным, растерзанным сердцем, сидел на его пороге и беседовал с ним... беседовал «как друг»...

Записка от княгини Катт императрице Лизии.

Возлюбленная, коронованная голубка!

«Золотые очки» все еще не уехали! Леон беснуется. Живем, как на вулкане! Благодаренье господу за статского советника! Он до сих пор спасал положение, хотя небу известно, у него и своих забот достаточно. Джим ¹⁾

¹⁾ Джим и Джам—негры статского советника.

ушел, а Дикам требует жалованья. Тише ты, ветер-шептун!.. Тысячи приветов от друзей.

Твоя воркунья

Лесная горлица.

Р. S. Спасибо за чудесную камеру. Посылаю первые восемь снимков: «Леон мечтает» (2 снимка; один неудачный); «Леон в гордой позе» (3 снимка разных); «Леон в меланхолии» (пробовали снимать трижды, и все неудачно); «Леон в приливе вдохновения» (ему самому больше всего нравится, где он сидит под пальмами); «Леона—неподима» попытаемся снять вновь завтра.

Р. P. S. S. Леон только что заходил: сияющий, божественный! Нашел оригинала—портного, кажется,—что-то в роде Абракадабры по имени, и написал о нем поэму. Никогда еще не достигал он такой высоты,—говорит статский советник! На душе легче! О, боже! Сегодня вся колония улыбается.

Лесная горлица.

Записка от императрицы Лизии княгине Катт.

Дорогая Лесная горлица!

Благодарю за чудесные фотографии. Благодарю от всего сердца! Счастливые вы птицы! Вы живете, а я сижу в своей раззолоченной клетке. Пришли мне побольше снимков. Еще и еще! Ты даринь мне этим жизнь.

Твоя печальная

коронованная голубка.

Р. S. «Золотые очки» были сегодня на аудиенции. Я просила. Молила. За Леона. Нельзя. Мы ответственные перед историей.

Записка от княгини Катт императрице
Лизии.

Коронованная голубка, дивная птичка!

Все устроено. Победа! «Золотые очки» темнеют! Леон прочел вчера вечером свою поэму: «Гость в персти». Как раскаленная лава! Произведет фурор. Завтра будет отослана. Через неделю портной станет знаменитостью. Я вчера сняла его перед лачугой. Изумителен, не правда ли? Печальный философ времен столпников. Зовут его Александерсен. Ей-богу: финики и хлебные корки—вся его пища. Какое презрение благ мирских! При нем мадам—милая старушка. Тысячу приветов!

Твоя верная

Лесная горлица.

Р. S. Бедный статский советник! Джим подал на него в суд. Наглый бездельник!

Записка от императрицы Лизии княгине
Катт.

Лесная горлица на зеленой ветке!

Прочла стихи Леона. Во сне я или на яву?.. Да, и я «гость в персти»! **Merci** за прелестнейшую фотографию

портного с Буддой, пальмами и вывеской. Сюжет для бессмертной кисти статского советника! Еще снимков из твоего Элизума! Еще! Еще!..

Твоя

коронованная голубка.

Записка от княгини Катт императрице
Лизии.

Коронованная голубка!

Статский советник спасен! Неизвестный великодушный доброжелатель (или доброжелательница?!) заказал ему портрет «Портного перед лачугой» в натуральную величину! И прислал щедрый задаток! Бедный статский советник! Мы все так ему сочувствовали. Он такой чудесный, жизнерадостный, забавный! Джим раскаялся и вернулся. Джам получил жалованье за 3 последних года и за 2 вперед. Прибыло огромное полотно. Завтра приступим к работе!

Все мы, все славим неизвестного благотельного гения!

Тысячи приветов!

Лесная горлица.

Действительно, в одно прекрасное утро статский советник прибыл собственной массивной персоной в своем гиге, с Джимом и Джамом на заплатах, с мольбертом, холстом и прочими принадлежностями, и приступил к писанию портрета с Александерсена. Картина выходила

преяркая: портной, лачуга, вывеска, пальмы, попугай, Торбина и Будда.

Весь город приходил смотреть на представление. Молодые художники расставляли свои мольберты на заднем плане, фотографы делали снимок за снимком; экипажи останавливались, путешественники протискивались сквозь толпу, чтобы взглянуть на замечательного портного, «гостя в персти».

А когда картина была готова—блещущий красками шедевр—имя Александерсена облетело весь мир вместе со стихами Леона и слухами о картине ван-дер-Кошпердингена... С этих пор Александерсену не давали ни часу покоя в его лачуге.

Чужие дамы совали нос в его дверь, чужие господа заговаривали с ним и предлагали ему денег, чтобы посмотреть—правда ли он откажется?—и все приносили платки, салфетки, кушаки, платья и рубашки, чтобы он вышел на них свой девиз: «Я гость в персти».

Наконец, явился деловой человек и предложил ему вступить с ним в компанию для фабрикации таких надписей сотнями тысяч. Александерсен только продавал бы их в своей лачуге, а барыши пополам.

Александерсена чуть не стошнило от такого предложения. Право, как-будто жизнь и дневной свет лишились своей красы и своего блеска с того часа, как Александерсен прославился. Все эти люди, которые раньше шли себе разумно своей дорогой, не трогая его, теперь вдруг словно с ума сходили в его присутствии и так его изводили своей назойливостью, что он швырял работу и уходил.

Деловой человек принялся за Торбину, которая была уже достаточно заряжена всем этим непостижимым превращением простого портного в какое-то чудо.

Но Александерсен только еще больше заупрямился.

— Чтобы я сидел тут и продавал такой вздор! Ведь я написал это на вывеске в шутку, ради собственного удовольствия!.. В конце концов, не брать ли мне с людей плату за позволение смотреть на меня, когда я ем финики или справляю свои нужды, или бранюсь с Торбиной? Я хочу, чтобы меня оставили в покое в моем доме.

С тех пор он отказывал всем живописцам, поворачивал спину всем фотографам и с гневным вздохом снял свою знаменитую вывеску.

И когда к лачуге под'ехала в карете знатная миллионерша и послала сказать ему, что хочет заказать ему вышить надпись на скатерти, он отказался наотрез. Ему надо было положить заплатки на задок штанов рыбакова мальчишки.

«Очень ей нужен задок штанов рыбакова мальчишки!»—раскричалась она, топая в карете ногами. Ей некогда ждать.

— Так пусть себе уезжает,—сказал Александерсен.—Вообще, он берет теперь только ставить заплатки на штаны, и, если ей надо заплатат свои штаны, пусть вылезет из кареты и покажет ему. Не то, пусть лучше займется чем-нибудь более дельным, чем раз'езжать по городу да надоедать людям, которые ее не трогают.

Вышла Торбина, и обе женщины в сестринском единомыслии наградили портного отборной бранью.

Александрсен сидел с каменным лицом. Но в нем созрело давно шевелившееся решение: уехать из этого города.

Решение это вызвало большое удивление в квартале вилл: его тут прославили на весь мир, а он хочет уехать отсюда!

И вот, Александрсен получил замечательное приглашение: не пожалует ли он в квартал вилл, в гости—в самую «Академию», на праздник по случаю дня рождения Леона Ахиллеса.

— Неужели ты не понимаешь, что они хотят высмеять тебя?—сказала Торбина.

Александрсен не ответил. Но пойти на праздник решил. А на следующий день уехать.

ПРАЗДНИК ЛЕОНА АХИЛЛЕСА

Неизмеримое значение имели для поколений людских гордые, буйные песни Леона Ахиллеса.

«Уличный мальчишка» называли его враги.

— Хорошо; стало быть, я всемирный уличный мальчишка,—отвечал он,—а весь мир—провинциальная улица!

И он, свободный и смелый, как уличный мальчишка, наполнял мир задорными «Йодлями» и буйным хохотом своих песен. Его язвучие насмешки заставляли князей втягивать голову в плечи, а их пасторские преподобия извивались от его гимнов, как присоленные пиявки. Он находил слова для сокровеннейших, немых дум и чувств сердца, и как же было им не звучать на весь мир, а нам не ликовать, слушая их.

Он развязал языки влюбленным и внушил смелую искренность любви в ее вечной борьбе против лицемерия и пошлости. Под защитой его охватывающего весь мир стойкого упорства вырос и развился целый духовный лес, сад культуры.

Бога он воспринимал, как единственного, кто не

нуждается ни в чьей защите и убежище. Собственный же его дух был настолько велик, что давал убежище и защиту миллионам душ.

Подобно тому, как уличный оригинал Сократ вывел мысль человеческую на верную дорогу своим смиренно-печальным признанием праздношатающегося, что он «ничего не знает», так «уличный мальчишка» Леон Ахиллес прочистил воздух, признаваясь в своих песнях, что «ничего не чтит»... ничего, кроме солнца и Мариорджии. Ее нежные и бурные объятия выпускали на волю его кипящие страстью песни, тогда как мир и все мирские соображения были для него, созерцавшего солнце вечности, провинциальной улицей, узкой и плоской, а все власть имущие и великие мира—кислыми стариками и старухами, которые высовывали головы из своих нор и таращились на него с презрением за его веселость и независимость.

— Итак, был день рождения Леона.

Полвека пробушевало вокруг этого дуба. Но волосы его были еще почти черны. В его карих глазах сверкала уверенность, горела страсть.

В улицах и переулках гремела духовая музыка. В городе Будды хлопали флаги, и от всего цивилизованного человечества сыпались приветствия и поздравления Леону и его «Академии».

«Академия» была некогда основана Леоном. Сначала это был просто кружок молодых талантов, «будущих знаменитостей», проживавших в городе Будды. Когда члены кружка приобрели известность, «Академия» преобразовалась в задающий тон союз крепко спаянных «бессмерт-

ных», числом 30, строго блюдущих свои традиции. Известности стали знаменитостями. «Академию» посещали и короли, и императрицы, и слышное прежде кружком вольнодумцев объединение достигло теперь зенита славы, в качестве «сверхчеловеческого»—в лучшем смысле этого слова—высшего эстетического ареопага из патентованных «бессмертных». И ежегодно в день рождения Леона «Академия» распределяла большие денежные суммы в виде премий и стипендий, награждала почетными отзывами и дипломами, раздавала места и заказы.

Могущественная «Академия» и 30 ее бессмертных членов стали поэтому средоточием духовной силы, и вокруг нее роем вились почитатели, пробивающие себе дорогу таланты и соискатели денежных поощрений.

Музыка гремела в большой академической зале, где на высоких пьедесталах стояли изваянные из мрамора великие представители рода человеческого и торжественно взирали с небес бессмертия на вечно сменяющиеся людские поколения. Двадцать девять «бессмертных» в расшитых золотыми пальмами мантиях прошли, раздвигая толпу, по зале и заняли места на возвышении. Статский советник держал речь в память умершего в истекшем году «бессмертного», великого инженера, а сама Мариорджия, обворожительная в мантии с золотыми пальмами, приветствовала нового «бессмертного», своего давнишнего поклонника, епископа Ассера, гениального, остроумного прелата с улыбкой сатира.

Молодые таланты выходили вперед и получали—кто известную сумму золотом из руки Леона, которую лобы-

зали, кто—заказ или место, кто—диплом. В зале прогремело ура в честь Леона, и 30 бессмертных торжественно проследовали в Стеклянную залу, где традиционное ежегодное торжество достигало своего кульминационного пункта во время обильного, со сказочной роскошью и блеском сервированного, пиршества.

По установившейся твердо традиции, «Академия» в этот день преподносила пирующим какой-нибудь оригинальный сюрприз. Так было и на этот раз.

Главный стол сверкал серебряной и золотой посудой. На убранном с ассирийской и персидской роскошью почетном месте у верхнего конца стола восседал сам царь празднества Леон Ахиллес. Жаркие, рагу, соуса, печенья и вина обносились кругом. К противоположному же концу стола был приставлен простой деревянный столик, на который поданы были кружка воды и бумажка с хлебными корками и финиками. Перед столиком было сооружено нечто в роде почетного места для бедняка, и представляло оно лачугу портного с знаменитою вывеской: «Я—гость в персти».

— Великолешно! Бесподобно!—закричали все, увидев эту нищенскую лачугу, ставшую знаменитой, благодаря стихам Леона и картине ван-дер-Коппердингена. Обильные яства главного стола приобретали как-будто особую ликантность от сопоставления с этою жалкою трапезой бедняка.

Но когда затем дверь отворилась и ввели самого портного, настоящего живого Александерсена, который и занял свое место, все собрание, в мантиях с золотыми

пальмами, встало и приветствовало его, смеясь, восторженным залпом рукоплесканий.

Александерсен уселся. Настал величайший час его жизни. В долгие, тяжелые годы, сидя у себя дома на верстаке, мечтал он об этих великих, бессмертных. Теперь он стоял, сидел среди них, с иголкой в лацкане своей куртки; это было похоже на сон, но это было наяву.

Он видел их элегантность, их грациозные жесты, их утонченность, блестящие глаза, непринужденную, уверенную осанку. Вокруг него раздавался их ласковый смех, их глаза приветливо смотрели на него.

Не права ли была Торбина? Не был ли он для них просто шутком? Нет, для этого они были слишком интеллигентны, слишком умны. Их только забавляло, что он, с его привычками, сидит у нижнего конца их стола,—что же было в этом дурного? Его место и было внизу; он был их смиренным поклонником; где же еще и сидеть ему с его финиками и корками?

— Да, он премилый,—сказала княгиня.

— Грешно так,—сказала Мариорджия:—дайте ему чего-нибудь еще!—И Александерсена стали угощать разными дорогими блюдами, но он отодвигал их от себя. На что ему это? Под конец он даже рассердился. Пусть только оставят его в покое. Для него нет ничего лучше его фиников и сухих корок.

И пир продолжался со всей роскошью и изобилием.

Александерсен сидел и смотрел на великих людей. Вот где красота! Вот где величие! Вот они рыцари истины, гроза духовной лени, лицемерия и тирании!

Зазвенели бокалы: Леон с епископом чокнулись. Боже великий!.. Как же это так? Неужто никто не помнит?

Александрсен знал, что толстый господин, с которым чокнулся Леон, был епископ. И глазам своим верить не хотел. Вскочил и учинил скандал,—процитировал длинное, дерзкое, но превосходное стихотворение Леона о епископах.

Он готов был заплакать. Он утверждал, что раз Леон публично глумился над епископами в своих неснях, то не должен миловаться с ними частным образом.

Леон хохотал. И повернул дело в шутку: «Мы боги. Мы деремся на земле и чокаемся на небесах».

Александрсен умолял его не быть изменником собственным песням. Заклинал его именем всего человечества.

Но это привело лишь к тому, что собрание «бессмертных» дало ряд нелестных отзывов о человечестве: оно глупо, тупо, лениво, состоит из снобов и низкопоклонных душ, неспособно ни мыслить, ни действовать и т. д., и т. д. Политические деятели могли ездить на нем верхом, генералы расстреливать его, готовить из него пушечное мясо, да еще удостаиваться от него за это памятников. Вообще не было истории настолько глупой и вздорной, в которую нельзя было бы впутать человечество.

«Академия» являлась островом среди бушующего моря глупости. Это был особый мирок,—несколько узкий, полный одиночества, одиночества тенев. «Удел тения—одиночество и меланхолия»,—выразилась княгиня.

— Мы сидим, как в золотом сосуде, кругом—пустота,—сказала Мариорджия.

— Мы тридцать составляем мир!—воскликнул статский советник.

Но Александрсен был человек последовательный, на этом сходятся все сообщения. Он хотел покинуть город. Да, теперь только он в серьез захотел покинуть город. Он не успокоится, пока не разберет мир по всем швам—таков ли он, каким рисуют его «академики». И ему хотелось бы взять с собой на эту ревизию всю «Академию».

Проект не вызвал восторга.

Но тут случилось нечто неожиданное.

Из города вышло чествовать Леона длинное факельное шествие. Леон принял чествователей, сидя на балконе. Он был глубоко тронут и взволнованно благодарил. Это было красиво задумано.

Тем временем, в комнате рядом разыгралась горячая сценка.

Княгиня шикала, смертельно бледная. Генерал бросился на телеграфную станцию.

Епископ хотел войти и устроить примирение. Статский советник не позволял ему. Мариорджия вышла возмущенная; человек в золотых очках за нею. Она топала ногой и фыркала от негодования.

Тут как раз факельное шествие кончилось. Мариорджия кинулась на шею Леону, и—настроило ли его факельное шествие милостивее к человечеству или произошло что другое,—только Мариорджия обернулась к портному и сказала:—Мы отправляемся вместе!

СТРАНСТВИЕ

На следующее утро все общество действительно собралось за городскими воротами и двинулось в путь. Попугаи крикливо приветствовали солнечный восход, обезьяны протягивали с пальмовых вершин свои мохнатые ручки за красным солнышком жизни, а на берегу стояли фламинго и окунались в волны, как языки пламени.

— Совсем зоологический сад! — ликовала Мариорджия. Вокруг из норок и укромных местечек поблескивали глаза тварей, неизвестных ей даже по имени.

Земля цвела и сочилась здоровьем и плодородием. У прохладного грота путники сделали привал.

Никогда еда не казалась им такою вкусною, и, закусив, они — кто бы подумал это о собрании таких крупных величин и знаменитостей? — принялись смеяться, играть, прыгать, играть в чехарду и брызгать друг в друга водой из источника.

Вдруг они услышали странный, многоголосый, жалобный вопль, который все приближался.

По холмам тряслась телега, нагруженная деревянными ящиками-клетками. В них лежали маленькие дети и

с плачем тянулись худенькими ручонками к солнцу, просовывая их между перекладинами. Рядом с возом шел, пошатываясь, полушьяный возница.

Вдруг телега опрокинулась, и ящики-клетки вывалились в канаву.

На минуту детский крик смолк, но затем снова раздалась столь громкие и отчаянные вопли, что все общество кинулось на помощь и с шутками, со смехом помогли вознице снова нагрузить воз.

— Бездельник! — загремел Александерсен: — Чьи это дети?

— Да уж не мои, — ухмыльнулся возница. — И не твои ведь. Ну, чего еще... Гип! — и телега запрыгала дальше.

Общество сообразило, что это были брошенные дети, которых везли в приют. Нашло, что такое безжалостное обращение с детьми чистый скандал, и отправилось дальше.

— *Надо бы* написать жалобу! — сказала княгиня.

Около полудня общество достигло постоянного двора. Там они опять увидели телегу — за воротами, а возница сидел и распивал себе в харчевне вместе с другими гостями и бродягами.

Вдруг солнце померкло. Хлынул проливной дождь. Дети в ящиках закричали по новому, словно захлебываясь.

Александерсен выдернул кол из забора и кинулся в харчевню.

— Господи, что он задумал? — с испугом спросила княгиня.

— Отдубасить этого бездельника!—воскликнул Леон, смеясь.

— Не надо нам впутываться в историю!—крикнула вслед ему Мариорджия.—Слышишь, Леон.

— Дети мокнут под дождем!—закричал Александерсен вознице.

— А тебе что?—тупо спросил возница.

— Оставьте этого господина в покое,—завизжала хозяйка харчевни. Но Александерсен ударил колом по столу и погнал возницу к дверям под вопли хозяина и хозяйки:—Выгонять бедного старика на дождь!.. Липать нас законного куска хлеба!—вопили они со слезами на глазах.

Но Леон заткнул им рты парой золотых. На ящики был накинута брезент, и ошеломленный возница, ругаясь, пошел дальше, преследуемый по пятам Александерсеном и его компанией.

Сцена у харчевни запечатлена мастерским эскизом статского советника (Копердинген: Эскизы. Роскошное издание; т. II, стр. 184). Ливень и ревущие ребятишки в ящиках-клетках переданы с неподражаемым юмором, как и злорадствующий, на манер долговязого уличного мальчишки, Леон, озябшая княгиня и дрожащий от гнева портяной. Точно так же хозяин с хозяйкой—две смелые, превосходные фигуры содержателей постоянных дворов.

Спустя полчаса, телега остановилась у ворот приюта. Большая часть детей уже похолодела, беспомощно болтаясь в своих ящиках-клетках.

Княгиня была очень немилостиво настроена и хотела продолжать путь, но Александерсен немедленно отыскал инспектора, добросердечного старого профессора в соломенных туфлях и без пиджака. Знаменитый, создавший новую эпоху полемический труд его доставил ему это место инспектора—на смену другому добросердечному старику профессору.

— Поговорите с вице-инспектором,—мягко сказал старик.—Я числюсь в отпуску и не занимаюсь делами.

— Где же вице-инспектор?

— Прилеж вздремнуть после обеда и не любит, чтобы его в это время тревожили. Вы приходите через часок.

— Но половина детей уже мертва.

— Вполне возможно,—сказал старик с раздражением:—но я не люблю досажать моим подчиненным. Осмотрите пока приют. Меня же извините. Я сегодня чиню свои трубки.

— Но телега с детьми все еще стоит у ворот.

— Надеюсь,—сказал старик.

— Разве их не надо выгрузить?—спросил Александерсен.

— Досадная история, — произнес старик. — Я ведь в отпуску и не могу рассчитывать на добавочное вознаграждение. А монахины где же? Ах, да! Они сейчас молятся. Так я не смею мешать им.

Из часовни доносилось громкое умиленное пение:

Коснись устами уст моих,

благой, небесный мой жених!..

— Теперь уж им немного осталось долететь, — сказал старик. — Присядьте пока. Вон там лежат юмористи-

ческие журналы. А мне пора пойти заняться моими трубками.

И он засеменял к себе.

— Уйдем!—перво шепнула княгиня.

— Не будем впутываться в историю!—твердо сказала Мариорджия.

— Пусть его чистит свои трубки,—добродушно заключил Леон.

Но Александерсен был пылок, как огонь, и тверд, как камень. «Я гость на земле»—думал он, гневно стискивая зубы.

Быстро прошел он через двор и отворил дверь в часовню.

— Ты с ума сошел!—зашипела Торбина, прислушиваясь к псалму и трясаясь от страха.

Но Александерсен крикнул, заглушая пение, нарушая торжественность службы:

— Помогите! Дети умирают!

Пение прервалось. Настоятельница бесшумно выплыла из рядов, склонив голову на бок.—У нас час молитвы!—набожно-строго прошептала она и хотела затворить дверь.

Александерсен указал ей на телегу.

— Мы придем, как только кончим,—решительно ответила она и величественно затворила дверь. Служба возобновилась.

— Мы не хотим скандала,—сказала княгиня.

— Я не хочу, чтобы мое имя было замешано в историю,—подхватила Мариорджия.

— Ты права,—сказал Леон.—Пойдем!

Но Александерсен закусил губу. Он не думал о том, что делает. Он только чувствовал себя сильным и решительным, так как был одинок. «Я гость на земле» чувствовал он каждым фибром своего тела и опять распахнул дверь часовни.

Пение оборвалось. Все побледнели. Александерсен властно прошел через всю часовню к самому алтарю и задул свечу, одну за другой, все десять, повернулся к перепуганным монахиням и крикнул:

— Нету у вас здесь, бога, только чад от свечек да ханижество. Сам бог там, за дверями. Со скорбью стережет беспомощных малюток. Живо за дело! Исполняйте свой долг!

Господи боже, кто он такой?... Настоятельница прижала руки к груди. Пастор выглянул из ризницы; орнат сбился у него на бок. Причетник вертелся волчком... Александерсен-же стоял, прямой и трепетный, перед померкшим алтарем, преодолевая в себе панический страх силой воли.

— Это верно новый епископ,—пробежал шопот по рядам монахинь. Поспешно оторвали они свои зады от нагретых скамеек, и в какие-нибудь две минуты дети были водворены.

— Блестяще оборудовано, портной, чудесно!—сказал после того Леон и пожал Александерсену руку.

— Позвольте поблагодарить вас,—решительно заявила княгиня, протягивая ему обе руки. Статский советник, Буриан, Мельба, Тюрко, словом—все, окружили его и смеялись, и поздравляли с радостным изумлением.

А Мариорджия вынула цветок из своих волос и прикрепила его к лацкану куртки Александерсена. Глаза ее были полны слез.—Вы герой,—сказала она.

Робко и стыдливо стоял Александерсен в кругу великих людей, говоривших ему, что он совершил нечто великое. Разве так совершаются великие дела? В этом все и заключается? Он просто почувствовал в ту минуту глубочайшее презрение ко всем условностям и сделал нечто, казавшееся ему вполне естественным. На одну секунду разные сомнения и соображения нагнали было на него панику, но стоило ему решиться, и, как буря гонит бурю, как ястреб ястреба, воля его одолела панику. Он действовал лишь так, как учили песни Леона,—ему казалось это вполне естественным,—а они вот стоят тут и поздравляют его, так что ему прямо стыдно становится за то, что он сделал.

Александерсена и всю его компанию угостили и показали им весь приют.

— Я в отпуск и делами не занимаюсь,—твердил старый профессор, кланяясь и улыбаясь, а за спиной Александерсена подталкивал монахинь локтями, чтобы и они вызвали на лицо улыбку и скроили наименее обидчивую из своих мин.

ЖИВОЙ РОЗОВЫЙ КУСТ

Солнце снова выглянуло; в комнатах, в залах, на лестницах и в люльках—повсюду лежали дети, и вся эта лепечущая масса тянулась ручонками к свету и солнцу.

Ни один ребенок не знал еще, что он такое и кто, на каком языке предстоит ему учиться говорить, около каких точек зрения придется кружиться в своих мечтах, такими религиозными истинами проникаться, к каким грубым и грязным делам приучать свои чистые пальчики.

И все же, как ни были они все малы и невинны, первая страница их судьбы была уже заполнена, вдобавок самая важная, ибо некоторые из них имели свою миссию в жизни, другие не имели. Некоторые из этих маленьких беззаботно лепечущих созданий вообще не имели ничего; даже пеленки, которые они мочили, не принадлежали им; у них не было ни родного угла, ни денежного обеспечения и ни единой души в целом мире, к кому бы обратиться. У других же имелись купчие крепости и закладные на обширные владения; их ожидали большие поместья с церквями и барскими усадьбами, с селами и тысячами

слуг и арендаторов—там, в благоустроенных странах человечества.

Некоторых воспитывали поэтому в просторных покоях, закармливали и окружали толпой слуг. Им подобало вырасти щепетильными, самоуверенными, самодовольными. Такими они и вырастали.

Других растили в тесных, темных каморках; питали их скудно и когда придется, зато не жалели для них колотушек и выговоров. Эти дети обречены были стать покорными, вульгарными, жадными и подובострастными. И становились.

Третьи вырастали в больших общих залах; их жизнь протекала на солнце, в тепле, среди цветов, игр и порядка. Эти дети должны были развить в себе светлую душу, чувство товарищества и—развивали столь же легко и просто, как надевали чулки на ноги.

Впрочем, четыре дня тому назад в Детском приюте произошел большой скандал. Какая-то путешествующая графиня пожелала отслужить обедню. И все монахини, питавшие такую же слабость к настоящим графиням и к обедням, как к сливочным сырам, не могли удержаться, чтобы не пойти в тот день к обедне; когда же вернулись к своим земным обязанностям, оказалось, что... все дети, богатые и бедные, добрые и злые, заползли в одну общую залу, где и лежали себе на солнышке, в братской куче, прообразом будущего человечества, лепетали и болтали, ощупывая друг дружке носы и пальчики.

Дело замаяли. Перепуганные монахини распахали детей наугад. И вот, некоторые из тех, кому полагалось стать самоуверенными господами, обречены были расти

низкоклонными рабами, а некоторые из тех, кому надлежало вырасти жалкими и низкими душонками, стали теперь, к сожалению, вырастать в духе благородства и великодушия.

Александрсеню об этом происшествии не сказали. Оно и не всплывет раньше Дня Судного (через год или два) и причинит много хлопот, когда придется отделять агнцев от козлищ и когда план сотворения мира и книга жизни должны будут совпасть буква в букву.

Наконец, настала минута, когда общество сошло с балкона в сад полюбоваться на гордость приюта и главнейшую местную достопримечательность—живой розовый куст.

Сад, обнесенный крепкими стенами, спускался к морскому берегу, который вставал зеркальной, пламенной стеной.

Цветники наполняли воздух почти видимыми волнами аромата. А в центре цветников, в тиши, нарушаемой только ленивым плеском фонтана, в кругу шумящих туристов с книжками и зонтиками в руках, цвел высотой в два человеческих роста раскидистый, как шатер, живой розовый куст.

Зрелище было захватывающее, диковинное, незабываемое.

На глазах у всех, среди темной зелени ветвей появлялись бутоны, в течение нескольких минут слепо, по детски, тянулись к солнцу, трепетно распускались, пышно пвели... блекли и закрывали свои чашечки, словно усталые, заплаканные глазки, увядали и осыпались... Тихим

дождем, шелестящим водопадом сыпались бледно-розовые лепестки, образуя желтеющие кучи, гнили, уходили в землю слой за слоем, а на их месте появлялись все новые и новые... Изменялась и зелень куста: с трепетом развёртывались почки; нежно зелёнели, темнели, желтели и опадали листья.

Весь куст трепетал и жил диковинной, страстной внутренней жизнью, говорил о вечном чудесном брожении сил в этой шелестящей тишине.

Тихо набегали на прибрежный песок золотистые волны, ровно и неизменно тянул на берег бриз, рождая сладкую, томную мелодию,—словно что-то вечное нежное дыхание сливалось с ласкающим невнятным напевом,—а колокола приютской часовни час за часом отмечали хрустально-чистыми звуками течение вечности.

— Творец небесный, как же я груб!—вырвалось у статского советника. Он стоял, с обнаженной головой, с покрасневшими глазами, не сводя глаз с чуда. Это был какой-то медленный каскад роз, вечно новых и все одинаковых.

— Бесподобно, бесподобно, бесподобно!—твердила княгиня, вертясь около куста в тихом восторге.

Александрсен стоял, ослепленный пышностью роз и богатством этой трепещущей жизни.

Да, вот она жизнь, о какой он грезил, богатая, роскошная... расточительная, трепещущая страстью, в вечной лихорадке счастья!..

Две крупные розы-сестры распустились вместе. Одна, увядая, склонилась в предсмертной истоме к другой, но

та, еще яркая, пылающая, отвернулась от умирающей сестры к третьей.

— Видела, Мариорджия?—с волнением шепнул Леон, но прежде чем Мариорджия успела подойти, все три уже увяли.

На солнце набегало облачко, и словно дрожь побежала по кусту... дрожь испуга, начиная с верхушки.

Снова брызнули солнечные лучи, и вершок за вершком куст стряхивал с себя испуг, расцветал минутами пышнее, чем когда-либо.

— Великолепно! Великолепно!—ликовали все.

На самой верхушке распустилось сразу восемь... десять... дюжина пышных роз. Они купались в лучах солнца, окруженные бесчисленным множеством мелких роз, которые выбивались из темной чащи ветвей, расцветали, цвели, увядали и осыпались...

— Заметили вы эту дюжину?—воскликала княгиня. — Заметили?

Мариорджия захотелось унести с собой памятку с этого диковинного куста.

— Вон ту, генерал!—крикнула она Тюрю, указывая на одну из роскошных роз. Генерал поспешил срезать для нее цветок.

— Какая прелесть... о, какая прелесть!—восхищалась Мариорджия, но едва успела схватить цветок, как тот отцвел; она хотела спрятать его, но он уже пожелтел и осыпался, а когда она собрала лепестки в свой душистый носовой платок, в нем оказалась только бурая, гадкая пыль, которую и развеяло ветром.

Мариорджия смертельно побледнела, и ее охватила

могильная жуть. В страхе уцепилась она за руку Леона, по он, указывая на куст, на это живое, скоротечное брожение сил, сказал:—Смотри, так умирает, вянет перед лицом бессмертной красоты Мариорджии, бренный, недолговечный род людской.

А Торбина стояла спиной к розам, изучая высеченные на мраморной доске имена давно уже истлевших королей и императоров, почтивших розовый куст своим посещением.

Солнце садилось за горами, когда Александерсен с компанией, покинув сад, вышли на пыльную дорогу. В ушах и мозгу его шелестело и мело умирающими голосами вянущих роз: «Гость... гость.... среди персти!»...

Инспектор, запыленный, согбенный, стоял в дверях и кланялся. Позади него стояли в запыленных юбках монахини и тоже кивали и улыбались на прощанье.

Компания переночевала на постоялом дворе, поблизости, и на другое утро двинулась дальше. Едва они скрылись за холмами, инспектор послал на постоянный двор одну из монахинь справиться об именах гостей.

Она вернулась мертвенно-бледная, с вестью, что это был портной Александерсен, а прочие, должно быть, его подмастерья и мастерицы-швейки.

Добросердечный старый профессор и все его монахини затряслись от гнева. Обедню в тот день отменили. Профессор, бывший местным корреспондентом органов церковной прессы, немедленно подошел автоплексически багровый к телефону. Монахини, поставив себе на

стол огромный круг сыру, настроили раздирающую душу жалобу на святотатца. А наказанный возница, являвшийся местным корреспондентом местной свободомыслящей прессы, состряпал с помощью профессора длинную скрепленную клятвами корреспонденцию об имевшем место там-то и там-то нападении на него фарисея, лицемера и ханжи такого-то и послал корреспонденцию, во-первых, в полицию, а во-вторых, в газету, с приложением своей и профессора фотографий.

И пока Александерсен со своими спутниками в то ясное утро добирались до соседнего города, тамошние власти были предупреждены о их приближении, и возмездие уже висело над их головами.

Это был старинный, школьный городок, родной город Леона, статского советника, Тюрко, Мельба и Рафаэлло. Но едва они вступили в его достопочтенные пределы, как полиция забрала всю компанию в участок, а там арестовала Александерсена.

В РУКАХ ПРАВОСУДИЯ

Арестован!.. Он, Александерсен, арестован!

Он огляделся в своей одиночной камере—мрачной, грязной, узкой, воючей. Окопце с решеткой, койка с соломенной подстилкой и грязное одеяло.

Арестован прямо на улице! Наглая, грубая рука схватила его за шиворот и тряхнула так, что все поплыло у него перед глазами... Толпа улюлюкающих уличных мальчишек по пятам, а в окнах кругом утренне-кислые физиономии обывателей, словно буравивших его своими взглядами, полными презрения и отвращения... Это идиотское улюлюканье мальчишек, которые и сами не знали кого и за что травят, эти идиотские, скуксившиеся рожи взрослых, которые так же мало знали, отчего они кукасятся!..

В нем подымалась ненависть, вскипела и жгла его, обдавала лихорадочным жаром при воспоминании о перенесенном позоре.

Эту грязную, темную, как дровяной сарай, камеру он готов был бы взорвать на зло им, разнести в щепы...

Что такое он сделал?—Ничего! Неужто это все из-за

пьяного бездельника, которого он выгнал из харчевни и заставил заняться детьми?.. Быть не может. Возница ведь смирился. Совесть зазрила его. Или это из-за тех несуразных монахинь, которых он переполошил?.. Быть не может. Они, ведь, даже угостили его на прощанье. Их тоже зазрила совесть.

Он не сделал ничего особенного; лишь то, что сделал бы всякий здравомыслящий, сильный, свежий человек. Хороши бы были власти, если бы наказали его за это!

О... завтра утром те же самые грубияны вынуждены будут выпустить его на свободу, с извинениями и с неловкими поклонами проводят его до дверей.

Есть же правосудие на земле!

А он, таким образом, испытал еще одно приключение! В самом деле, ведь он как раз к этому и стремился—видеть все, испытать все! Он ведь гость... «гость в персти».

Эта мысль охладила его гневный пыл, успокоила его. Гость, гость всегда, при всех обстоятельствах!

В двери открылась форточка; в нее сунули дощечку с корками черствого хлеба и с кружкой молока; затем форточка снова захлопнулась.

Александерсен от души посмеялся.

Эта пища, очевидно, полагалась в виде наказания, а для него не могло быть ничего вкуснее. Напевая, поел он и стал рассматривать сквозь оконную решетку город, который видел лишь мельком, город школ, родину Леона, статского советника, генерала Тюрко, и экс-президента Мельба, город, откуда вылетела стая орлов, реявших теперь над человечеством.

Вон тот холм, где Леон Ахиллес, еще подростком,

сорвал религиозное собрание своими насмешками. И, когда молния возмездия ударила в пень рядом с ним, он помахал шляпой грозовым тучам и крикнул свои знаменитые слова: «Метишь хорошо, попадаешь плохо!»—Но вслед затем какой-то разъяренный апостол любви так хватил его палкой, что сорвал ему одно ухо.

А вон та школьная библиотека, где Тюрко и Мельба—школьные товарищи, как-то раз просидели за партией в шахматы двое суток под-ряд, без сна, без пищи и не обменявшись ни единым словом. Теперь ставками в их игре были миллионные народные массы.

А вон школы, колледжи... крупные учебные заведения... Направо—школы религиозного направления, где детей, из которых полагалось создать верующих, воспитывали в страхе божием; налево—школы свободомыслящие, где воспитывались дети, предназначенные стать свободомыслящими или вольнодумцами.

Александрсен видел, как божьи детки высовывали носы из-за заборов, чтобы поглазеть на детей вольнодумных, а вольнодумные дети, в свою очередь, садились верхом на заборы и глядели на божьих деток. Вместе их никак нельзя было сводить до окончания ими полного курса, то-есть пока точки зрения не засели у них в головах крепко на-крепко.

А между этими школами был разбит небольшой сквер, где учителя тех и других школ сходились в свободные промежутки между уроками, жевали свои бутерброды и вяло беседовали о каникулах, жалованьи и прибавках, пока звонок не разлучал их. И некоторые из учителей, давшие перед тем урок в школе религиозной, плелись на

урок в школу вольнодумную, или наоборот... такие равнодушные... усталые.

К оконной решетке подошел человек.—Вы, Александрсен? Так. Плохо ваше дело. Весьма плохо.

— Но я же ничего не сделал,—возразил Александрсен, снова всплыв.—Я только спас от смерти десятков малюток.

— Очень может быть,—сказал человек и сообщил Александрсену, как обстоит дело. Попадн Александрсен в Судебный Округ с населением тупым и равнодушным, на дело, вероятно, и посмотрели бы вот именно так, просто, наивно. К сожалению, он попал в округ с весьма развитым населением, которое в течение многих десятков лет уже прославилось своим интересом к вопросам высшего порядка. Все поэтому решалось здесь в порядке борьбы двух высококультурных партий: церковной и свободомыслящей.

В течение 30 лет свободомыслящий редактор самого распространенного органа печати превратил все местное население в свободомыслящих, но затем 10 лет пролежал в постели, с пиявками на затылке, и за этот период супруга-редактора, особа религиозная, приложила свои старания к тому, чтобы придать мирозерцанию своих читателей церковный оттенок. По смерти мужа, ей однако пришлось продать целых четырнадцать наиболее церковно настроенных приходов другой газете, направления вольнодумного. Эта зато уступила восемь вольнодумных приходов, с плохо работающими почтовыми отделениями, церковной прессе, руководителям которой, вследствие понесенных на бржег потерь, к сожалению, пришлось

ликвидировать дело в некоторых из своих наиболее благочестивых приходах.

Со всеми этими переменами читатели, разумеется, несколько сбились с толку—переходя от свободомыслия к церковности и наоборот. Но мало-по-малу большинство все-таки уяснило себе—к какому лагерю в данное время им полагается принадлежать, и в последнее время все голосовали дружно—в духе того печатного органа, который получали.

Несчастье же было в том, что Александерсен из-за возницы поссорился с прессой свободомыслящих, а из-за профессора—с церковной, отчего и был, так сказать, отвержен и богом, и людьми. И судьи, и заседатели, и адвокаты, и писцы, и тюремщики, и полицейские, и ночные сторожа—все уже смотрели на дело, как на решенное. Разумеется, без допроса и проч., и проч. не обойдется. Александерсен может быть спокойным: все формальности будут соблюдены в точности, строжайшим образом. Но окончательный приговор все-таки составлен и лежит в синем конверте в правом кармане сюртука судьи: 2 года тюрьмы и возмещение убытков профессору, вознице и монахиням, плюс гонорар адвокату, который не прочь получить в задаток половину немедленно.

Александерсен мало спал в эту ночь.

Но на другое утро дело внезапно, словно по высшему изволению, приняло совершенно неожиданный оборот... стараниями двух местных газет: «Фонаря» и «Трубы». «Фонарь» была руководящим органом крайних свободомыслящих, «Труба»—крайних церковников: «Фонарь Провещения» и «Божественная Труба».

Дежурный секретарь редакции «Фонаря» был в частной своей жизни весьма набожным человеком. Получив корреспонденцию возницы о нападении на него фарисея, ханжи и т. д., он молча бросил бумагу в корзинку для ненужных бумаг.

Дежурный секретарь редакции «Трубы», напротив, был сам по себе безбожный гуляка. Получив донесение профессора, он сказал:—Ну, опять эта старая чепуха!—и позвонил в «Фонарь»:—Вас тоже угостили историей об некоем Александерсене?—Да,—ответили из «Фонаря».—Мы не желаем печатать ее в «Трубе».—И мы не желаем,—ответили из «Фонаря».

И вот, оба секретаря бросили сообщения в сорные корзины и разошлись по домам.

Немного спустя, в редакторскую «Трубы» явился фактор газеты. Ему не хватало полстола. В редакторской ни души. Он выругал всех на чем свет стоит, пошарил в сорной корзине, нашел там рукопись подходящих размеров, и через день сообщение профессора, содержащее сильнейшие нападки на Александерсена, появилось в «Трубе».

«Фонарю» волей неволей пришлось на следующий день поместить пламенную статью в защиту Александерсена. Это совсем ошеломило судью; он не знал теперь, какой стороне угодить.

Сам судья в частной жизни был человек набожный и религиозный, враг вольнодумства и вообще симпатизировал монахиням. Большинство горожан тоже; но так как церковная партия, благодаря двум-трем неудачным смертям, заполучила новых вожаков, которые не зависели от

властей, то в административных кругах утвердилось мнение, что значительно возросшая в народе религиозность будет опасным орудием в руках этих новых людей; в силу этого, администрация стала вообще противодействовать монахиням. Последние задумали строиться на участке зятя судьи, так как владельцу предстояло получить перевод. Но публичный дом, ютившийся в переулке Ратуши, зарился на тот же участок и уже заручился обещанием. Монахини по секрету предложили содержательнице другой, принадлежавший монастырю, превосходный участок в новой части города, а потому более выгодный. Монахини даже имели несколько совещаний с «девицами» и сговорились действовать сообща против административной партии. Церковная партия, таким образом, грозила расколоться на три, а партия свободомыслящих на четыре части—в зависимости от того, будет ли приговор оправдательным или обвинительным. Оправдав Александерсена, судья восстановил бы против себя «Трубу», зять его не получил бы перевода, но зато и монастырь не получил бы участка для постройки. Осудив Александерсена, судья вооружил бы против себя «Фонарь», зять его получил бы перевод, но зато и главный руководитель «Фонаря» пробрался бы в Городской Совет. Дело, впрочем, можно было бы уладить иначе—путем соответственного обмена участков, если бы удалось приобрести еще участок вдовы башмачника, тещи второго писца в канцелярии судьи.

С помощью циркуля и линейки, следовательно, можно было бы сообразить, как умнее действовать и на чью сторону склониться судье—знай он только на чьей стороне окажется вдова башмачника!

На всякий случай осторожный судья тщательно составил и оправдательный приговор—со всеми мотивами, заключениями, параграфами и примечаниями—и, вложив его в желтый конверт, спрятал в левый карман сюртука. Теперь он был готов и ждал, что покажет время.

Александерсен узнал обо всем этом на следующее утро—опять сквозь оконную решетку, из уст своего адвоката, который, глубокомысленно гнусаая, добавил, что теперь, стало быть, все дело в том, за кем останется участок вдовы башмачника. От этого зависит фактическое решение дела, то-есть, от второго писца в канцелярии судьи.

У Александерсена все нутро горело от омерзения. Что же это за город и что за ничтожная мразь все эти людишки, нуждающиеся в циркуле и линейке, чтобы решить дело, которое любой здравомыслящий, свежий человек решил бы, ни секунды не раздумывая! И их набожность, и их свободомыслие, из-за которых они готовы вцепиться друг другу в волосы, одинаково мерзки, нечистоплотны, отталкивающие.

Вдруг он услышал доносившийся издали и все возмущавший шум—крики ура и фанфары. Это была молодежь, огромное шествие молодежи. Ежегодно ранней осенью проходили юные толпы, со знаменами и фанфарами, через этот город, лежавший на пути в широкий, белый свет.

Скоро стены арестного дома задрожали от громогласных кликов безграничного ликования, которое все росло и, казалось, никогда не уляжется.

Третий день наводняла молодежь город. Не оставалось ни одной свободной кровати, ни одного незанятого чердака или чулана, а между тем, беспрерывно прибывали все новые и новые толпы, с трубными звуками, с радостными криками. Они совершенно преобразили тихий, хмурый городок, наполнив его атмосферой лихорадочно-страстных желаний.

Без усталости, весь дрожа, кружился Александерсен в своей тесной камере. В этом шуме, в этом ликовании жизни он, как в откровении свыше, узнавал глубочайшее, заветнейшее томление собственного существа.

В этот третий день в двери камеры забарабанили. Молодежь рассказала, что власти держат под арестом невинного, и они окружили тюрьму.

Редактор церковной газеты не пользовался фавором у молодежи за свой кривой нос и не мог ничего поделать с этой буйной толпой. Сам судья, прибежавший с двумя конвертами—синим в одном кармане и желтым в другом—был отшвырнут в сторону. Замок взломали и Александерсена с шумным триумфом понесли по улицам. Кто-то сказал, что Торбина его жена, и ее понесли за ним на золоченом кресле. Когда же заметили на ней синие чулки с белыми носочками, бурному ликованию не было пределов. Все хотели видеть эту чету, узнать, как ее зовут; имена Александерсена и Торбины разнеслись по всему городу. Для молодежи это было первое и самое крупное приключение в жизни—собственноручное освобождение заключенного. За что его посадили—не особенно интересовало их, но они его освободили и не забудут его имени до самой своей смерти.

Прокислые улицы благоразумного старого города как будто обуял неистовый дух мятежа.

Юноши и молодые девушки, которых держали взаперти, выпрыгивали из окон и форточек, чтобы отправиться вместе с другими туда, в широкий, полный чудес свет, в поход молодежи.

— Каролина, Каролина, шпинат остынет!—кричала из окна мансарды сердитая старуха, грозя кому-то вниз... И скоро вся улица стала переключаться веселыми: «Каролина! Шпинат остынет! Слышишь?»

Старуха захлопнула окошко так, что стекла задрезжали.

Какой-то горячкой, страстным влечением вдаль, неутомимой тревогой сердца веяло от всей этой поющей, смеющейся молодежи, которая с котомками за плечами волновалась в улицах и переулках; прощаясь, поворачивала спину школе и родному дому и огромной толпой тилитримов выходила на большую дорогу, уводящую в незнакомый, чудесный, большой свет, с его свободой и никем не контролируемые радостями.

В переулке Ратуши ютился публичный дом. Почтенным биргерам нечего было и думать попасть туда в этот день. Молодежь завладела домом. Он был похож на взятую натуром крепость. Все ступени крыльца были уставлены обувью. На самом пороге стояла пара деревянных башмаков.

— Боже ты мой! Это Могенсовы башмаки!—завопила какая-то кривая женщина.—Я узнаю его по башмакам!—И она долго охала и вздыхала о том, что ее Могенс столь преждевременно расстался со своей невинностью.

Александрсен стоял неподалеку от крыльца, вместе с Мариорджией, Торбиной, княгиней и епископом.

Вот где была давка... шум и гам!

Статский советник, Тюрко и Мельба с трудом пробрались к ним.

Напротив них находился фруктовый подвал, под сенью могучего клена... Ветер колыхал его пожелтевшие ветви, и дерево обдавало старых и малых дождем своих семян, сеяло их на ступени крыльца и в водосточные каналы.

— Увы! Увы!—сказал епископ Ассер:—Где то будет вся эта молодежь через двадцать лет?...—И он взглянул на дерево:—Настоящий ливень семян, а многие ли из этих семян вырастут деревьями?

— Знаешь,—сказала княгиня, схватив Мариорджию за руку:—Вот здесь, в этом подвале он и жил... Тетрарх.

— Тут он всегда подкарауливал Леона на пути из школы,—сказал Мельба.—Силач он был... о! И большой остроумец... Это Леон прозвал его Тетрархом или «Четвертинным князем» за то, что он вечно таскал навоз четвертями.

— В сущности он был головой выше Леона,—сказал мягко Тюрко.

— Вот как?—холодно заметила Мариорджия.—Что же с ним случилось?

— Что с ним случилось?—подхватил статский советник и присвистнул.—Да что бывает с теми, кто не выбьется на дорогу?

— У Тетрарха были большие способности,—сухо заметил Мельба:—Ему только не хватало образования.

— Тем хуже для него,—заметил статский советник.

— Чего не хватает, приобретают,—сказала Мариорджия.—Это знает каждая лисица в лесу!..

— Тсс! Вот и Леон!—сказали они и поспешно заговорили о другом.

— Поллукс! Поллукс!—кричала молодежь.

Все смотрели вверх. Юноша с воздушным змеем в руках бежал по крышам домов, перепрыгивая с одной на другую, выделял голосом ликующие трели, ухал, прищелкивал и свистал в приливе радости жизни и юношеской отваги. Леон, растроганный, не сводил с него глаз.

— Такой же живчик, каким был «Четвертинный князь!»—воскликнул он.

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Если бы цветы осенние пришли прощаться с цветами весенними...

Такова была картина на следующее утро, когда морщинистые, увядшие старшие, в пластырях и болячках, с гримасами, спускались с крылец и порогов, чтобы распрощаться с стоявшею под окнами и у перил резвой, краснощекой, готовой выступить в поход молодежью.

— Ох, не забывайте наших наставлений и советов!— кричали старики.— Ох, милые детки, берегите денежки! И поклянитесь нам на коленях, что никогда не забудете того, чему вас учили в детстве, и не станете садиться тринадцатыми за стол! А если кто будет внушать вам не то, что мы вбивали вам в головы, так не слушайте! Заткните уши и бегите от него во всю прыть!

Зазвучали фанфары. С ликованием двинулась молодежь в путь, и городские улицы опустели, онемели.

— Ну, слава богу, распростились с ними,—вздыхали старики, утирая глаза.— Это все-таки большое облегчение. Только бы наш кофё не простыл...— И они уходили к себе.

Молодежь отирала глаза и вздыхала:— Ну, слава богу, отделались от них со всеми их сетованиями, хныканьем и причитаниями.

Словно пеннистая струя шампанского, хлынули они из городских ворот.

Небо чернело тучами; надвигалась осенняя буря.

— Берегитесь! Это буря смерти!—остерегали молодежь последние из провожавших ее старших, зябко подымая воротнички до ушей, и спешили назад—укрыться за крепкими городскими стенами.

Но молодежь и не думала зябнуть. Они, ликуя, встречали порывы ветра и пускали змеев в бурю смерти.

— О, какие они бодрые, свежие!—воскликала Маргюрдия.

Из обрыва на старом кладбище торчали белые кости давно погребенных там пасторов и причетников.

— Осторожнее! Это кости мертвецов!—в ужасе кричала толстая графиня. Она ехала в коляске, с нею были восемь ее монсов и целая бутылка гофманских капель; она раздавала молодежи душеспасительные листки.

Но молодежь не питала почтения ни к таким листкам, ни к мертвым костям. Юноши выдергивали кости из земли и кидали друг в друга старыми пасторами и причетниками. А тот, что прыгал по крышам в городе, Поллукс, изнынул потемневший от времени мертвый череп прямо в коляску благочестивой графини.

— Не угодно ли? Вот тебе твой прадедушка!—крикнул он. Графиня взвизгнула и лишилась чувств, лошади

понесли, молсы залились хриплым лаем, и коляска опрокинулась в мергельную яму.

— О, какие забавники!—хохотала до слез Мариорджия.

А молодежь, со свистом и смехом, ураганом неслась по каштановой аллее, усыпанной опавшей листвой в аршин толщины. В конце аллеи возвышался гранитный портал с открытыми воротами, и молодежь с громкими криками радости устремилась туда—в долину вечной весны.

Юности златые долины...

Как наш путь был светел там!

Говор, пенье, смех веселый,—
шли мы словно по цветам.

Шум осенних бурь в вершинах,
похоронный, грустный звон—
в юности златых долинах
превращались в счастья стон!...

(Епископ Ассер: „В долинах юности“).

— Спой, Мариорджия!—растроганно воскликнул Леон:—Ты сама юность. Ее ликования и рыдания звучат в твоих песнях. Они как раз для молодежи!

— А в стихах Леона—бурный натиск юности!—воскликнула княгиня.—Они тоже как раз для молодежи.

— Садитесь-ка чинно в кружок,—мягко сказал молодежи епископ; никогда еще не испытывал он такого радостного умиления.

Молодежь медлила.

— Она мировая знаменитость,—объяснил статский советник, и старшие расположились в кружок поудобнее, чтобы насладиться пением. Мариорджия запела дрожащим от внутреннего ликования голосом.

— Была нам охота сидеть тут да слушать этот визг!—крикнул Цоллукс товарищам, и мало-помалу все они очутились между душистых цветников, около виноградных лоз и деревьев с чудесными плодами.

— Боже, до чего он груб, этот мальчишка!—воскликнула княгиня, когда Мариорджия со слезами гневного разочарования прервала свое пение. По предложению Леона все они, однако, остались сидеть и дослушали песню до конца, а затем со спокойным достоинством последовали за молодежью и стали восхищаться чудесным садом.

Дикий возглас мести злобой

тех долин не достигал.

Холод смерти, мрак загробный
возле входа не дышал.

Дней веселых вереница,

и ночей блаженных тишь...

Сердце билось, словно птица,

пульс подпрыгивал, как мышь!

(Епископ Ассер: „В долинах юности“).

— Как все это, однако, наивно!—сказала Мариорджия устало и с презрительным сожалением.

Александрсен изумленно обернулся на нее.

Ему казалось, что грешно так говорить. Эта чудесная молодежь с великолепным здоровым телом и ослепленная счастьем и чувствами... неужели она была только наивна?

А сад, воздух, зелень, плоды? Все сверкало и сияло, словно картина, написанная солнечными лучами и каплями росы. Для этой молодежи весь мир был новым, как бы созданным лишь в эту ночь. Новорожденные жаворонки заливались в вышине. Новорожденные цветы, росшие по краям дороги, поворачивали головки к солнцу. Никакие воспоминания, недобрые воспоминания не омрачали развевавшейся перед ними дали. Разве все это было наивно?

А вот тут стояли Мариорджия, Леон, княгиня, епископ... Их глаза утратили свежий блеск. Взгляд стал острее и колючее. Чувства их подернулись налетом усталости. Для них мир был старым, запыленным ржавчиной воспоминаний. Старые замухрышки-жаворонки сидели на заборе и почесывались. У дороги доцветали последние цветы, уже утратившие свежесть. Сами они отяжелели от воспоминаний. А говорили, что мир отяжелел от воспоминаний! Разве это не было тоже наивно?

В той же долине приютился сказочный городок.

Совсем как настоящий, даже с аистами на крышах. Из окошек выглядывали старушки, кивая молодежи; под мостиками бежали ручейки, поросшие по берегам мятой и незабудками.

— Но разве тут нет людей?—кричала молодежь.—Здесь так тихо, как на епископской визитации.

— Тсс... тсс...!—шепнул кто-то, проходя в одних чулках:—Сюда! Сюда! В соседнюю улицу!

Пошли в соседнюю улицу. Она была запружена, забита народом.

Господь бог, обходя землю, как раз зашел в этот городок, занял на постоялом дворе горницу и стал творить суд и расправу. Чорт засел в распивочной рядом и резал себе сыр на закуску; кроме того, перед ним была колбаса пяти сортов и бутылка пива. А в сенях теснились, как сельди в боченке, люди, заглядывая одним глазком в горницу к господину богу. Время от времени раздавался чей-нибудь крик:—Идут! Идут!—Все вздрагивало, и многие с криком пускались наутек.

С величайшим трудом просунул Александерсен свой нос в дверь горницы, где господь бог, старый, с седой бородой, сидел в кресле и судил. Горница была битком набита людьми.

Настоящими людьми. Не нарисованными или намазанными фигурами, а настоящими, живыми людьми, нашими собственными родными и знакомыми, из таких-то и таких-то улиц и переулков.

Это было, пожалуй, всего диковиннее.

По правую руку стояли все святые люди, члены братств и благочестивые Скагенские рыборотловцы. Они сильно раздобрели за время войны, и всякий раз, как взор господина бога обращался в их сторону, он не мог не остановиться на их пузах. Тогда они конфузились и подбিরали животы. Жены их явились в новеньких плюшевых мантиях, ценою в 400 крон, с дорогими меховыми воротниками, и пахли в своих мехах и перчатках скорняжной мастерской. А все девицы из «Кружка христианской молодежи» явились в белых платьях, в белых ботинках на высоких каблуках, в белых перчатках, в белых и синих вуалях и в шляпках, пестревших, как попугаи в верхушках

пальм. Эти так пахли одеколоном, что господь бог чихал всякий раз, как поворачивался в их сторону. Позади них стояло несколько бедных девушек из Армии Спасения; их совсем оттеснили, и бедняжки становились на цыпочки и вытягивали шеи, чтобы увидеть господа бога хоть мельком из-за пестрых шикарных шляпок... Кто же тут был еще? Да были и все вы, прочие спасенные души из Скагена и Сэбю! Милые школьные учителя, и кожевники, и барабанщики, которые и мухи не обидят. Вы достаточно часто тянули нас в суд. Теперь ваш черед судиться, а мы себе посидим за чернильницей. Да-с, не угодно ли вам пожаловать в горницу постоянного двора? Там скоро яблочку некуда будет упасть. Ведь старец в кресле—сам господь бог... Да прихватите с собой и своих летних гостей. Вон того низенького пробста, и того—долговязого с орденом, медалями и лицом тигры. И ее, барыню в траурном крепе и с лорнеткой. И пробста из Торслева тоже! Входите, входите, ребята! И прикройте дверь от сквозняка. Господь бог в летах преклонных... Вы, святые, становитесь направо,—еще бы! На почетные места! Налево стоим мы, еретики, социалисты. Тут и кузнец со стеклянным глазом, и чистильщик, и Нильс Степняк, и наш старый друг, редактор Свангольм в очках. А посредине, прямой, как столб, и почти не настоящий, стоит дрогист с электрическим слуховым прибором.

Ну-с, будем продолжать!

— Поди-ка сюда, ты!—подозвал господь бог низенького сухонького пробста.

Пробст шагнул вперед, тихонько потирая руки, подтянутый и самоуверенный.

— Ты, кто такой?—спросил господь бог.

— Я пробст, возлюбленный господь бог,—ответил тот, потирая руки.

— Как так? Я всегда считал тебя Ольборгским епископом!—сказал господь бог.

— Отнюдь нет,—улыбаясь возразил пробст.—Я бы не хотел, чтобы меня смешивали с ним. Напротив, я делал все, что мог...

— Ты мог бы сам стать епископом, не так ли?—репителью спросил господь бог.

— Разумеется, господи,—ответил пробст смущенно, но....

— Почему ты отказался?

— В должности пробста в моем округе я получал двадцать тысяч в год. А жалованье Ольборгского епископа очень маленькое—всего пять тысяч, и я, как один из старейших твоих слуг, господи...

Господь бог посмотрел на него так, что тот осекся. Кучка направо смутилась. Святые тысячники рыбки сжились, елико возможно.

Господь бог кивком головы велел пробсту удалиться. Тот повиновался, оторопев, кланяясь и потирая руки. Порывался сказать что-то, но так и не сказал.

Господь бог подозвал другого пробста. У членов братств щеки побелели, как мел, а в середине заагнали яркие пятна.

Сановито, словно в соборе, сложив по-святому руки на груди, выступил другой пробст.

Господь бог взглянул в свою записную книжечку: — Не ты ли так жестоко преследовал Арбо-Расмусена?

— Я, возлюбленный боже,—ответил тот, склоняя голову на правый бок.

— Не ты ли был непримиримым борцом за истинное исповедание веры?

— Я, владыка мой и учитель!—ответил тот, склоняя голову на левый бок.

— Сними перо со шляпки!—обратился господь бог к самой толстой из рыбиц и опять повернулся к пробсту:

— Любишь ты Христа?

— Превыше всего, господи!—ответил тот, закатывая глаза.

— Задумывался ты о спасении своей души?—спросил господь бог.

— Я никогда ни о чем другом и не думал,—сказал пробст с ударением и посмотрел на господа бога, как на лакомый сыр.

И все члены братств принялись вдруг славить господа бога. Они пели ему гимны, становились перед ним на колени, теснились около него, целовали ему руки, фалды его сюртука, восхваляли его и льстили ему, как царедворцы на аудиенции.

— Смирно!—крикнул господь бог, бросая торопливый взгляд в окно на молодежь в саду, которая бесперомонно любезничала там между собой или карабкалась на вишневые деревья.

Святые были подавлены. Они-то думали угодить. Сами они ведь не знали большего блаженства, как внимать льстивым хвалам из уст почтительных и преданных окружающих; ни о чем другом и не мечтали.

Но господь бог с крайним отвращением и омерзением

отвернулся от приторного поклонения святых, и взгляд его упал на социалистов, которые стояли налево, поглядывая на часы и перешептываясь.

— Кто ты?—вдруг спросил он.

— Что угодно?—спросил дрогист, прикладывая слуховой аппарат к груди.

— Позвольте заявить, что он довольно плохо слышит,—сказал редактор Свангольм.

— Ты бываешь в церкви?—крикнул господь бог громче.

— Не-ет, куда там!—сказал дрогист и тихонько засмеялся:—Давненько не бывал!—прибавил он весело.

— Задумывался ты о спасении своей души?

— На это у меня никогда досуга не было,—сказал тот, смеясь.—Я заседаю в комиссии по распределению муки и сахара... в комитете попечения о стариках, в бюджетной комиссии и проч. и проч. Сами посудите—много ли остается свободного времени.

— Мария, однако, избрала благую часть, сев слушать благую весть спасения,—вставил пробст.

— Кто же тогда стал бы заботиться о городской бедноте?—возразил дрогист.—Ведь им не прожить тем, что они получают из братств.

— А вы, святые, не могли помочь ему в его работе?—спросил господь бог.

— Жди от них добра!—сказал кузнец.

— Как же это так?—продолжал господь бог.—Вы, святые, только и занимались собою, да своим спасением, сколачивали себе капиталы и обзаводились плюшами и мехами... А у безбожников было столько хлопот и забот

о вас и о других, что им некогда было даже подумать о собственном спасении. Как же это так?

Воцарилась мертвая тишина. Разряженные рыбницы стояли, разинув рты под вуалями,—живые подобию своих мамаш, которые были так бедны, что собирали коровий помет на топливо.

— Позвольте мне вставить маленькое замечание,—сказал Свангольм. Но в эту минуту раздался страшный шум в соседнем помещении, где восседал чорт.

Он просматривал местные газеты и знакомился со списками умерших за последние недели, как вдруг вошел мальчуган с афишами, бросил на стол парочку афиш и побежал дальше.

Чорт взял афишу и прочел: «Публичное собрание сегодня вечером. Участвует обер-прокурор Столь». Понизже было прибавлено: «Приходите взглянуть на меня, пока вы живы!» А в самом низу: «Мы, нижеподписавшиеся, 27 почтенных граждан рекомендуем всем нашим менее почтенным согражданам притти послушать обер-прокурора...»

Чорт не дошел до подписей. Он выскочил опрометью в дверь, так что стул опрокинулся, бутылка с пивом покатилась, и колбаса очутилась на полу. А две минуты спустя, все дома по улице затряслось, из камней мостовой посыпались искры. Это чорт, как бешеный, мчался из города в закрытой карете во всю прыть четверки лошадей... и скрылся на юге.

Пиво еще не успело вытечь из бутылки, как дверь из соседней горницы приотворилась, и господь бог сунул голову в дверь. Увидал афишу и опрокинутый стул, взял

афишу, прочел... быстро прошел в кухню, уплатил по счету и, с величайшей поспешностью оставив постоялый двор и городок, направился к северу, где и скрылся.

Молодежь тем временем собралась идти дальше. Предоставив старшим интересоваться господом и чортом, молодежь обегала и обшарила все фруктовые сады сказочного города, успела досыта напиться, нашутиться и намяловаться и нетерпеливо рвалась в путь, когда обер-прокурор Столь, со свитой, верхом прискакал в город с востока, с Дьявольских холмов.

В гостинице «Вифезда» пережарили утку, в гостинице «Наин» майонез припахивал дымом, в гостинице «Эфата» у него сломалась запонка от манжеты и т. д., и т. д. Поэтому он и прибыл с таким опозданием. Господь бог успел скрыться к северу, чорт к югу. А молодежь, решительно отказавшись идти на собрание в дом Братства, двинулась к востоку. Тогда обер-прокурор наскоро устроил коротенькую религиозную беседу, потом велел вычистить себе сапоги и сам улетучился из города за Райскими холмами на западе.

Молодежь поднялась на холмы.

Там разгулялась буря; в ветвях гигантского дуба свистело и трещало.

Поллукс взобрался на самую верхушку, чтобы поглядеть, где конец света.

Графиня со своими восемью мопсами ехала в коляске и разъяренно грозила ему зонтиком.

Вдруг из тысячи тысяч молодых грудей вырвался

крик.—Поллукс стремглав полетел с дерева и упал мертвым, окровавленным около коляски графини.

— Отойдите, не прикасайтесь к нему!—вопила она.— К этому ужасному язычнику, богохульнику, клятвопреступнику, бандиту, мятельнику, бездельнику, драчуну! Вечные муки тебе за то, как ты поступил со мною и моими собачками! Тысячу тысяч лет будешь ты гореть в огне и мучиться и скрежетать зубами... И еще тысячу миллионов, миллиардов лет... И никогда не перестанешь... И вы все берегитесь! Берегитесь, говорю вам, мерзкие мальчишки и развратные девчонки. Зову господ в свидетели...

В тот же миг господь бог стоял посреди них в своем коричневом сюртуке, старый, седой.

Он поднял мертвого Поллукса на руки, и чем заблуднее оказывался тот, тем нежнее взирал на него господь бог; чем грешнее он был, тем сострадательнее прижимал его к себе господь бог... Ласково смахнул землю с его волос и лба и отер смертную пену с посиневших губ...

Затем он разгреб кучу опавших, побуревших листьев, и в земле разверзлась могила, наполненная алыми розами. Господь бог положил в нее Поллукса, скорченного, как неродившееся дитя в утробе матери, зарыл его в розах, кротко и ласково кивнул молодежи и исчез.

Молодежь молча, дрожа, постояла у могилы Поллукса. Затем пошла дальше по холмам. Но смех ее уже не был так звонок. Бушевала буря, блеск мира потускнел.

Девушки тяжело переваливались на ходу. Останавливались и блевали—желтые, пристыженные. Они были беременны.

Короткая весна жизни миновала. Веселые игры молодежи, пора сладостного увлечения сердец миновали.

Полные странных, робких предчувствий, с трудом карабкались они по холмам. И вдруг увидели зрелище, от которого сначала онемели, а затем громко закричали, охваченные новой надеждой, новым изумлением и очарованием,—так зрелище это было могуче и величаво.

За убегающими вдаль холмами весь горизонт был закрыт движущимися толпами взрослых... Шли сотни и сотни тысяч, толпы за толпами, волнуясь, сливаясь, волнуясь, сливаясь...

Это была «бесконечная большая дорога жизни».

С бурным ликованием устремилась молодежь вперед, на платформу; широкие массивные ступени вели с нее туда, в гущу толп человеческих, идущих большой дорогой жизни.

На холмах остались только Александерсен и его спутники. Щеки его горели. Он ведь родился в тесном, обособленном уголке мира. И он простер руки, словно желая обнять все это странствующее человечество.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Александрсен с компанией стояли на самой верхней ступени лестницы, в толпе молодежи и, не отрывая глаз, смотрели вниз, на это море людское, шумно катившееся внизу, на эту плотную народную массу... От нее подымались вверх жаркие, душные испарения.

— Мы не станем спускаться!—крикнула Мариорджия в ужасе, затыкая нос душистым носовым платком с кружевами.

— Да, люди пахнут неважно,—сказал Леон Ахиллес.

Александрсен не сводил глаз с толпы, увлеченный, захваченный.

— Кто же ведет эти толпы?—спросил он, но не получил ответа.

— Откуда это могучее шествие?—спросил он старого сторожа.

— Не знаю,—коротко ответил тот.

— А куда же оно направляется?—спросил он опять.— Оно выходит из тумана, исчезает в тумане—зачем? К чему? Откуда? Куда идет?

— Не знаю. Так было всегда, этот поток никогда не останавливался.

— Но ведь должен же кто-нибудь знать что-нибудь!—воскликнул Александрсен.

— Не знаю, не знаю,—испуганно ответил старик.— Никто ничего не знает наверняка.

— Но если никто ничего не знает, как могут они идти так доверчиво вперед, целыми толпами!

— Не знаю, не знаю,—повторил старик удрученно.— Но есть, говорят, какой-то город. Плоти, где-то далеко-далеко, говорят... А кто говорит: город Духа... А я ничего не знаю... ровно ничего в мире... Я занят своим делом...— И он шмыгнул в свою сторожку.

Александрсен чувствовал, как этот поток увлекает и его за собой,—как пилигрима течение священных вод Ганга. Торбина стояла уже на самой нижней ступени и кивала ему... Но академики устроили краткое совещание. Потом подошли к Александрсену с приветливым, но весьма решительным видом.

— Ну, теперь мы простимся с вами, Александрсен,—сказала Мариорджия.—Мы хотим вернуться домой.

— Сию же минуту,—прибавила княгиня, немножко нервничая.

— Ни шагу дальше!—сказал жизнерадостный статский советник.

Александрсен глядел на них с изумлением:—Но ведь тут только и начинается человечество, настоящее человечество!..

— А что мне в нем?—спросил Леон, скаля зубы.

— В человечестве? В народе?—воскликнул Александрсен.

— Я еще в своем уме!—глубокомысленно произнес Леон.

— Ни под каким видом!—запальчиво сказала княгиня.

— Вернитесь-ка, и-вы с нами,—продолжал Леон,—к Будде, к виллам, пальмам и всему прочему.

— Мой путь ведет туда!—твердо заявил Александрен.

— Стало быть, дороги наши расходятся,—сказал Леон.

Но вдруг бурный натиск сзади, непреодолимый порыв молодежи вперед...

— Ах, чорт!—шопотом вырвалось у Мельба и Тюрко, и вся знатная компания закружилась, завертелась в общем потоке, хлынувшем вниз по ступеням. Великий людской поток разделит их, разбросал, втянул в себя, одиноких и беспомощных, и сомкнулся за ними, стирая их следы.

Шипенье и крики, словно тысяч рассерженных птиц... граждебно-растерянное озирание вокруг,—вот что творилось в этой тесноте и давке на большой дороге жизни.

Взрослые люди, с пластырями и рубцами от ран, с искалеченными омертвелыми членами, с половинками легких, с опухольями и нарывами, с вонючими бородами и волосами... с окостеневшими хрящами и закупоренными известкой кровеносными сосудами, с отравленным мочевою кислотой мозгами... упрямые, вздорные и мелочные—мужчины и женщины—проталкивались вперед... шли непрерывно бесконечной дорогой жизни.

Они знали каждую бородавку, каждый волосок, каждый изгиб на телах друг друга, каждый оттенок, каждое ударенье, каждый подзвук и подразумеваемое мнение. По одиночке, парами, кучками давали они общему потоку уносить себя вперед, злобно и ехидно шипя друг другу в уши всякие бранные слова и колкости.

Молодежь утратила округлость форм, избыток жизненных сил. Они напоминали теперь запыленные, червивые позднеосенние цветы... были такие усталые и раздражительные. Поэтому и ссорились между собой.

А так как все были в сущности одинаковы, имели одинаковые внутренности, одинаковые нервы, чувства, языки, и единственным различием между ними были мнения, то они и ссорились из-за мнений.

И так как никто из них хорошенько не разбирался в тех мнениях, какими они были набиты,—они ведь унаследовали их от людей, которые давным-давно были закопаны в землю и которых нельзя было откопать,—то набитые одинаковыми мнениями собирались в кучки и обижено взирали на кучки набитых противоположными мнениями. Таким образом, все избавляли себя от труда выяснять свои мнения себе и другим.

И чувствуя за собой недостаток аргументов и мотивов, они давали себе громкие клички, которые должны были ставить их точки зрения превыше всяких споров, назывались: святыми, богобоязненными, детьми божьими, или интеллигентными, сверхинтеллигентными, культурными. Если противная партия в конце концов не в состоянии была измыслить себе еще более громкой клички,

то прибегала прямо к противоположному, дразнила противников, называя себя грешниками, еретиками. Вполне почтенные люди ужасали себя и других, называясь беспутными, испорченными...

Крики, ссоры, шум и брань, но толпы валом валили вперед, и пыль густыми облаками вздымалась и перед ними и позади них на бесконечной большой дороге жизни.

День за днем, то в гору, то под гору двигалось шествие.

Александрсен был на ногах с утра до вечера. Он был типичным рядовым человеком, более чувствительным к сходству, нежели к разнице. Поэтому он в толпе новых лиц видел не чужих людей, но товарищей. Поэтому он везде, даже в компании своих гениальных друзей, чувствовал себя, как между братьями, и поэтому же чувствовал себя связанным братскими узами со всеми этими чужими людьми в толпе.

И вот, это самое чувство братства своего с совсем чужими людьми, составляющее очарование длительных скитаний, наполняло душу Александрсена самым праздничным из человеческих ощущений. Супруги, братья и сестры, соседи и союзники—все, знающие в конце концов друг друга вдоль и поперек, внутри и снаружки, все они испытывают настоятельную необходимость ссориться и придраться друг к другу, чтобы не дать себе и другим совсем растаять, раствориться один в другом. Но в огромной толпе совершенно чужих между собой людей в этом уже не было необходимости. И для Александрсена, который сохранил свежесть и бодрость духа, каждый новый

день был и новым переживанием. Вперед, вперед, идти бок о бок с бесчисленными тысячами, то поддерживая одного, готового свалиться от усталости, то присаживаясь около другого, бросившегося в отчаянии на край дороги...

Он чувствовал себя таким бодрым и свежим, как кит, покинувший узкие, тесные отмели для соленой глубины океана. Всю свою компанию он растерял, всех, кого любил и знал, и все-таки чувствовал себя счастливым, радостным и уверенным среди этой огромной толпы человеческой, словно среди родных и друзей... сам безвестный и неприметный, как оно и подобает и что радует рядового человека, как робкого, дикого лесного зверка.

Раз ему случилось пережить нечто удивительное. Усталость и жажда загнали его в пыльный барак, стоявший на краю дороги. Таких там было много.

Он сел с кружкой пива и отдался созерцанию; это был счастливейший из часов его жизни. Он забыл все, что пережил до этого, забыл и прошлое и цели будущего.

Он сидел и созерцал поток, человеческий поток, стремившийся мимо него. Ему некуда было спешить. Он никуда не мог опоздать, ибо никого не ждал сам, как и его никто не ждал, но он не был покинут, ибо кругом кишели люди, люди, люди,—огромные толпы шли мимо него. Закрыв глаза, он слышал шаги, шум, голоса, все те же самые...

И когда снова открывал глаза, видел все те же знакомые лица самого разнообразного рода. Вечернее солнце золотило их. Дышавшее непогодой небо осталось позади. Никогда еще не видел он более величественного зре-

лица, не переживал более великого часа, более горячего и богатого ощущения жизни и тепла. «Я один из них, я один из этих многих»—трепетало и ликовало у него в душе.

Кругом за столиками в полутемном бараке сидели хмельные и полухмельные гости попеременно с бродягами, отдохавшими под скамьями и столами. С потолка свисали, словно сталактиты, длинные сосульки и ступки пыли. Гости ссорились или сидели, тупо уставясь в пространство, а шествие жизни безостановочно двигалось мимо.

— Шествие глупцов!—раздался голос. Александерсен обернулся. Высокий, запыленный бродяга по-княжески развалился на стуле, заломив шапку на затылок и лениво вытянув вперед ноги. Его длинное, худое лицо было изжелта-серого цвета; глаза сверкали золотистым блеском от лучей вечернего солнца, а королевские брови то презрительно подымались, то опускались на морщинистом лбу.—Шествие глупцов, Кай,—повторил он и потрепал по щеке умногого мальчугана.—Шествие глупцов, Гемма!—улыбнулся и нежно погладил он по голове девочку лет восьми.—Шествие глупцов, слышите вы там!—подмигнул он Александерсену, на которого пристально поглядывал перед тем.

Всякий раз, как он выпивал, двое умных ребятшек его поворачивали головы и провожали глазами стаканчик от стола до его рта и обратно.

— Хо-хо-хо!—засмеялся он протяжно, по-королевски, указывая пальцем в толпу.

Одна кучка людей несла прибитое к длинному древку

изображение распятого человека, другая—трехголового бога, третья—быка, четвертая—бога с молотом в руках... пятая, десятая—сотни разных знамен и эмблем. Богоносцы несли, глашатаи возглашали, шествие двигалось—дальше, дальше, дальше... с оупляющим однообразием. Так и полагалось, потому что так было удобно.

— Да это Александерсен!—вдруг сказал бродяга, нагибаясь вперед. Александерсен воззрился на него с изумлением. И вдруг у него мелькнула мысль:

— Вы Тетрарх?—спросил он невольно.

Тот скорчил удивленную королевски-пренебрежительную гримасу.—Я узнал вас по стихам Леона, лучшим из всех им написанных. Я сам не мог бы написать лучше... Хо-хо-хо!—расхохотался он смехом, похожим на громкое рыдание.

— Вы тоже поэт?—спросил Александерсен.

— Я поэт, да,—ответил Тетрарх тоном, в котором звучали и презрительная насмешка, и упорство, и отчаяние.—Когда Леон раздуется с целый земной шар и творит великие вещи, от которых вся земля жуужит в изумлении,—ей-богу, мне знакомо в них каждое словечко, потому что все это я уже говорил себе самому в грезах, в грезах наяву, более вдохновенно, более четко и сочно. Все язвительное выходило у меня еще острее, все чарующее еще нежнее, пленительнее.

— А вы никогда не записывали этого?

— Записывать, закреплять на бумаге беглые, скользящие мысли, связывать их чернилами, пригвозждать к строкам!..

— И никогда не высказывали их вслух?

— Нет.

— Да почему же?

— Потому что я слишком нервный человек,—сказал он.—Вы не видите разве, как ходят у меня брови? Я не могу остановить их. Не властен над ними. Они живут сами по себе. Вот и внутри меня живет голос сам по себе, подобно маленькому человечку, который выглядывает из дверцы, когда ему вздумается. И вот, я сложу про себя нечто великопнейшее, грандиознейшее, повернусь лицом к миру и только наберу в грудь воздуха, чтобы провозгласить это, как человек высунет голову из своей норки и скажет:—«Все это ложь, хвостун ты этакий, притворщик, красобай! Скорбь твоя показная, радость твоя показная, все у тебя показное, парадное!»—Неправда,—говорю я.—У меня все настоящее.—«Ну-ка докажи!»—говорит он.

— Как же это можно доказать?—спросил Александерсен.

— Заткнуть себе рот со всеми чудесами. Замолчать себя самого.

— Вы это можете?—спросил Александерсен.

— Да, спасибо. До сих пор удавалось,—сказал Тетрарх,—и с помощью добрых душ будет удаваться и впредь.

— Что это за души?

— О, две благочестивые души, которые думают: «держись крепче за то, что у тебя в руках, чтобы никто не развенчал тебя». И каждый раз, как я готов был выбраться наверх... наверх... наверх... каждый раз, когда я хватался руками за гребень стены, эти двое добрых граждан спи-

хивали меня вниз. Ведь взберись я только наверх, клинись, я бы вдохнул полной грудью и развернулся, расцвел так пышно, что сам Леон поблек бы передо мною. Да, взбираясь наверх, высвобождаясь, сам растешь вершок за вершком с каждой ступенью, а в воображении—и милую за милую, и все твои дарования растут, как дерн на унавоженной земле...

— Но сейчас мы отлично сидим тут втроем,—добавил он, прижимая к себе детей,—и смотрим на это шествие, на это невероятнейшее зрелище, но не сочиняем о нем ничего, ни басен, ни стихов, не извлекаем из него выгоды, не декламируем о нем; просто глядим на него, живем им, немые и счастливые тем, что сами увидели нечто, столь замечательное, и не обязаны передавать это дальше.

В эту минуту из давки на большой дороге послышались громкие крики. Преследуемый проклятиями, вырвался из рядов человек и влетел, оборванный, растрепанный в барак.

Это был Леон... увы! В каком виде!

Его теснили, его толкали, он терялся между шляпами и бородами, грудными младенцами и обжорами, растрепанный, обескураженный... что-то среднее между писцом и поденщиком. Время от времени он спотыкался обо что-то мягкое. Это были сбитые с ног женщины и дети; шествие топтало их.

Наконец, он вырвался, дико, бесцеремонно растолкав всех; ему необходимо было вырваться из этой будничной тесноты и духоты! На пути его упала с громким криком женщина, ее затоптали и забыли, людское море сомкнулось над ней и потекло дальше.

Шляпа Леона обвисла, волосы растрепались, щеки и глаза словно запылились, потускнели в будничной давке.

Он отдувался, фыркал, хвастался, ругался, обзывал людей ослами и обезьянами, пока не стал центром в бараке, не создал вокруг себя атмосферу внимания и почтения, в которой только и мог дышать.

— Дети, дети!—воскликнул Тетрарх.—Смотри, Кай, смотри, Гемма, это Леон Ахиллес, великий Леон! Смотрите на него своими глазами! Добро пожаловать, Леон, добро пожаловать, старый друг, в эту трущобу!

Как два короля приветствовали они друг друга—краснощекий, пылкий Леон Ахиллес и изможденный Тетрарх с двумя болезненными детишками; один на пути к новым лаврам и победам, другой на пути к смерти и бездне. А мимо них, мимо дверей барака, безостановочно двигалось шествие с топотом, с песнями и воплями, подымаемая пыль столбом—«шествие глушцов».

— Что ты тут делаешь?—спросил Леон.

— Сию и прислушиваюсь к писку праха,—сказал Тетрарх и чокнулся с ним.—Слышишь, как он пищит... пип, пип, пип... Как осиротевшие цыплятки. Тут горы пыли, праха роз, праха стертых подошв и праха сгнивших трупов... Пип, пип, пип... Маленькие пылинки раскрываются, как ящички, оттуда высовываются головки, прислушиваются к шуму движущегося потока и спрашивают друг дружку: «Оно все еще движется? Безостановочно? Шествие глушцов! Когда-то и мы в нем участвовали. Мы были перстью короля, вора, убийцы, розы...» Так шепчутся и шушукаются они, потом опять прячут головки и закрывают свои беленькие дверцы.

— Хо-хо-хо! Леон Ахиллес,—крикнул он, ломаясь, и хлопнул Леона по плечу:—Пройдет сто лет, а они все будут пищать... «Пип, пип, пип», скажут одни пылинки, «мы были перстью Леона Ахиллеса». «Тип-тип-тип», скажут другие, «мы были перстью Тетрарха». Они будут пищать и шушукаться, а шествие будет безостановочно плестись, шлепать, топать и толкаться... шествие глушцов... вечное шествие сотен тысяч миллионов глушцов!..

И они пили взапуски, пока стакан не выпал из рук Леона. И последнее, что схватил он потухающим взглядом, был мерцающий четырехугольник оконного стекла, а в нем—мелькающие, колыхающиеся в ночном сумраке, молчаливые, сонные толпы, сопровождаемые писком пылинок из всех углов: пип-пип-пип,—словно стаи цыплят во мраке.

Тетрарх спал на кучах пыли, а двое детей терпеливо караулили его, смахивая пыль с его лица и рук; он был в их глазах выше всех, кого они знали, единственным их прибежищем в бурной текучести моря человеческого.

Должно пойти.

Должно пройти!

раздавалась на следующее утро песня в такт тону шагов в белом тумане наступающего дня.

Александрсен и Леон Ахиллес вновь дали увлечь себя людскому потоку.

У входа в темный тоннель они приостановились.

И здесь же встретили остальных членов Академии, сверхчеловеков и миродержцев, смешавшихся с этим потоком будничных людей!

Бог ты мой! Будни сильно их помяли. Прежде столь уверенные взгляды стали тревожными и мелочными; прежде столь прямые спины согнулись, сторбились. Княгиня стала похожа на уличную газетчицу, статский советник на комивояжера, Тюрко на старого токаря, Мельба на захудалого писаря. А Мариорджия, стройная лучезарная Мариорджия... Ее пылкая гордость переродилась в форсированную колкость потрепанной горничной. Все яркие краски сверхчеловечности посплиняли с них, и наружу выступили все симптомы общечеловеческой пошлости.

Была тут и Торбина с целой ротой кислого бабья. Она чувствовала себя в этой толкотне так хорошо, как нигде.

Подул сильный ветер, и начал хлестать дождь. Потом наступили мороз, голод и нужда.

Жирная, завитая барыня на носилках, окруженная восемью мопсами, записывала нуждающихся. Давка усилилась. Носилки опрокинулись, толпа набросилась на посылки, носильщиков, свертки, пакеты и собак и—села мопсов.

— Я с моим телосложением не могу же ходить пешком!—наивно жаловалась барыня, едва плетясь, охая и, как ребенок, взывая о помощи к луне, но та и с места не сдвинулась. Какой-то шутник связал все восемь ошейников одним шнурком и сунул его ей в руку.

Должно пойти,

Должно пройти!

звучала песня. Многие умирали. Ложились, задыхаясь

от кашля, вздремнуть в снежные сугробы на дороге, и последним впечатлением их сонно смыкавшихся глаз было безостановочное движение их собратьев, людей, которые, дрожа от холода, все шли и шли мимо—каждый занятый лишь своей нуждой и своими маленькими шансами.

Наступили самые мрачные дни. Начало и конец шествия исчезали в крутящейся снежной вьюге. Всех охватывало уныние, страх смерти, трепетные, безнадежные мечты о свете и счастье. Возникла масса легенд, маленьких суетливых легенд, вызывавших жалкую улыбку на ввалившиеся щеки. Оживали религия, грезы, псалмы; насыщенные страстной тоской, орошенные слезами они забирали дурманящую власть над бредущими толпами—пока самый темный день не миновал, и не началось полное обещаний нарастание света.

Тут снова всплыли старинные предания о цели пути, о городе Плоти и о городе Духа, о пустынных высотах, об извечных, одетых снегами, раздвоенных вершинах, через которые предстояло перевалить... И многие принялись карабкаться на деревья, чтобы высмотреть вдали те вершины.

Но опять разразилась буря, пурга, и снова уныние придавило души; уныние переходило в усталость от земной жизни, эта усталость рождала тоску по жизни небесной, а тоска по жизни небесной разрешалась громким молитвенным пением, гимнами пилитримов.

Вдруг, утром, с верхушек деревьев раздались крики: Гора! Гора!

Леденящий ветер разогнал туман, и вдали показалась гора, белая, расщепленная, похожая на козье вымя. Граница! Граница! Гора на краю света! Она не была выдумкой! Существовала. И город Плоти и город Духа—стало быть, существовали тоже.

Словно по мановению волшебного жезла исчезли и сказки, и религия, и молитвы—все колдуны-спутники усталости и неизвестности.

Грянули песни, брызнула доброта, заискрилось веселье. Ноги шли как будто сами собой, и в один прекрасный день все стояли у подножия последнего горного хребта.

Высоко над ними вздымались белоснежные скалы; глубоко под ними текла в долине замерзшая река. У пристани стояли гигантские пароходы. Дым густыми черными клубами валил на набережные с большими занесенными снегом отелями и бараками, а там, над обрывом у дороги, вырубленной в скалах, высился знаменитый, древний путевой столб, указывавший дорогу катящимся волнам моря человеческого, шествию людскому, могучему, могучему шествию человечества.

Одна рука указывала на гору, и надпись гласила: «В город Духа!» Другая—вниз, где текла река, и надпись гласила: «В город Плоти!»

У ПОДНОЖИЯ ИЗВЕЧНЫХ ГОР

Все было занято, все гостиницы, все сарай.

Княгиня протискивалась вперед в отчаянии, в смятении:

— Куда же нам деваться? Куда нам деваться?

— В пещерах найдется место, в больших пещерах, вырытых в горах тысячами поколений человеческих. Нет, и там уже ничего нет. Все набито битком... Там костры... дым... дым и крики...

Над кострами кипели котлы. Усталые женщины спали на своих тюках; дети всех наций болтали, глядя на пылающие угли. И надо всем этим стояла вонь сонных дыханий, пота, копоты, еды и похоти.

— Мы не хотим здесь оставаться,—вопила княгиня.— Какое ужасное место, прямо ужасное!

Человек здесь считался не выше скотины... А в гостиницах? Никакого уюта. Шум, гам, сумятица! Хватали куски с чужих вилок, обжирались и отрывали на глазах у всех.

Пристанище! Пристанище! Иначе хоть пропадай!

Величаво высились горы над людской суетою и свалкой, а с большой дороги жизни безостановочно, бес-

прерывно прибывали все новые и новые тысячи странников.

Наконец-то, наконец, удалось добиться толку. За большую сумму, за целое состояние княгиня откупила одну гостиницу и наняла слуг очистить ее. Со всех сторон неслись, встречались и скрещивались крики и вопли,—залы очищали с помощью палок и револьверов; мужчин и женщин, с вилками и ложками в руках, выталкивали за дверь—разъяренных, взбешенных тем, что приходится очутиться на стуже и в давке.

Вскоре Александерсен, Торбина, княгиня, Леон, Мари-орджия, Тюрко, Мельба, статский советник—словом, вся компания—собрались за аппетитно накрытым столом. Еще дрожка от холода и пережитого страха, они потирали руки, вытягивали ноги, смеялись и глубоко-радостно вздыхали.

Пристанище... воздух, жизнь и свобода!

Только теперь явилась возможность наблюдать—из окошек—великолепное зрелище общей паники, давки, ужаса и смертельного страха сотен тысяч людей на фоне всеподавляющей природы.

Приковывающее, дивное, неизгладимое зрелище.

Всю ночь не прекращалась зловещая, мрачная суматоха теней; с большой дороги непрерывно катились во мраке все новые и новые волны людские с воплями: «Дайте место... место... место!...».

Из под шалей матерей слышались детские крики; сторбленные старики тихо толпились и кашляли под окнами Александерсена.

— Ну, живее, в постель!—скомандовала Торбина вне себя от радости. Но Александерсену было не до сна, не до отдыха. Безостановочно шагал он по полу, залепанному и заслеженному выгнанными постояльцами, и вслушивался в бессонную ночную возню там, внизу, сливавшуюся с отчаянными криками перелетных птиц наверху, над крышей.

Одичавший маленький мальчишка с миндалевидными глазами забрался под кровать, а потом и под одеяло. Торбина проснулась, завизжала и зашипела, но мальчишка уже спал, и Александерсен закутал его одеялом.

На утро он исчез, не сказав ни спасибо, ни имени своего и прихватил последние деньги Александерсена.

— Так тебе и надо,—жуужжала Торбина.

Настало утро. Народ все прибывал. Теснота превзошла всякое вероятие.

Перед окнами гостиницы столпились молодые фанатики,—высокие, с выдающимися подбородками и плоскими затылками. Они собирались в город Духа по ту сторону гор.

— Не ходите!—умоляли их старики, но тем упорнее стояли на своем молодые. Они двинулись в поход большими партиями, высоко закинув головы и отбивая шаг под песни гимнов; перешли через замерзшую реку между затертыми во льду пароходами и начали взбираться на скалы узкими горными тропинками.

Целое человечество было свидетелем их героического похода.

Высоко, высоко виднелись они мазком сажки на горном снегу...

Мазок сажи—три тысячи человек!

Удивительно, что в таком мазке сажи может быть столько самомнения!

Все стояли безмолвно, глядя им вслед.

Вдруг скатилась лавина, бесшумно накрыла их и погребла...

Столько молодых жизней, столько упорных воле!.. Вот как величава и деспотична природа.

Александерсен стоял у окна, вперив ослепленный блеском взгляд туда, где они исчезли.

Какие ужасные сцены разыгрались в эти секунды там, в вышине, а снизу, отсюда виден был лишь дымок, налет копоти, поглощенный белизной снега... так деликатно, неслышно, мирно и тихо...

Александерсен оглянулся вокруг: гостиницы, пароходы, народные массы—все это, как и те в вышине, лишь дымок на лоне гор, мазок сажи между небом и морем. Ветер взвевает снег, и—все будет засыпано, исчезнет, а природа будет сиять себе попрежнему. Невозмутимая. Незапятнанная. Беспечальная.

«Я только гость на земле!»—словно едкой кислотой жгли эти слова его покорную душу... в'едались в нее все глубже и глубже по мере того, как он вглядывался в эту холодную природу, на лоне которой род человеческий был лишь мазком сажи, налетом копоти.

И вдруг он взял свою шляпу.

— Куда? В уме ли вы?—раздались возгласы кругом.

Александерсен хотел присоединиться к другим смертным. Ему казалось преступным оставаться тут, в теплых залах...

— Этого только не доставало!—закричали Торбина и княгиня, Мариорджия и епископ... в негодовании.

— Но если тысячи вынуждены страдать там...

— К сожалению, мы не можем приютить их всех здесь,—сказал епископ,—так уж лучше нам оставаться тут и смотреть туда, не так ли?

— Я, во всяком случае, предпочитаю стоять там внизу и смотреть сюда,—тихо и непреклонно сказал Александерсен, отворяя дверь.

— Он с ума сошел!—воскликнул Леон, быстро вскакивая и захлопывая дверь перед самым носом какого-то чесоточного оборванца.

— Убирайся!—закричал статский советник на девочку, которая умудрилась так прошмыгнуть и разнухивала с'естное. И он спустил ее с лестницы.

— Слава богу! Им удалось снова запереться, и они расхаживали по залам, потирая руки, браня портного и время от времени следя за ним глазами в толпе.

Но в ту же ночь гостиница была взята штурмом. Не уцелело ни одного стекла, не осталось ни одной двери, которая бы прямо висела на петлях. Были ограблены все кладовые, взломаны все хранилища, и на следующее утро на верандах и балконах кишел всякий сброд. Затаптанные сотнями мокрых сапог валялись на черном крыльце обрывки собственноручной невозстановимой партитуры маэстро Капеллы, уничтоженной «Пасхальной сонаты».

В 10 ч. 27 м. утра ледяные сосульки начали таять и образовались капли.

Пароходы во льду развели пары. Все окружные холмы

были черным-черны, словно вымазанные дегтем,—так густо облепили их людские массы, готовые в поход. Все глаз не сводили с гор, окутанных меднокрасными облаками.

С гор стали срываться с треском и свистом лавины. Гремел гром, хлестал ливень. Раскат следовал за раскатом, земля дрожала под ногами людских масс, совсем исчезавших под струями ливня. Тучи, черные, как клубы каменно-угольного дыма, все ступались и заволакивали все кругом непроглядным мраком; только вспышки молнии озаряли косые струи ливня, хлеставшего ревущее море людское и крыши гостиниц, густо усеянные наредом. И хотя уши, казалось, уже не в состоянии были воспринимать звуки, слышался какой-то чудовищный раскатистый грохот, прокатился и замер вдали.

Людское море разом всколыхнулось: это треснул лед на реке. Выступили зеленые и бурые воды, взломали лед и закружили, понесли льдины под крики волнующейся толпы.

Сразу прекратился и град, и дождь, выглянуло солнце. Солнце, такое теплое, ласковое, брызнуло на крыши и на вершины гор, как бы обнимая весь мир. Словно сама любовь зайглась среди Рагнарока ¹⁾ стихий, согревая и горные вершины, и крыши домов, и похожее на копоть маленькое человечество.

Прислонясь к дымовой трубе на самом гребне крыши, вся промокшая насквозь, как бедная девчонка, стояла во

¹⁾ Гибель старого мира богов—по скандинавской мифологии.
(Прям. перев.).

время грозы Мариорджия, примирившая, подавленная всесокрушающей мощью природы, и сквозь слезы смотрела на дождь и молнии. Рядом с нею стоял молодой рыбац; охватив рукой ее плечи, он стал кричать ей в самое ухо слова на непонятном ей языке. Она повернула к нему голову и уже не отрывала взгляда от его лица, как и он от нее, все время, пока содрогалась вселенная. Мариорджия чувствовала себя чудесно влеченной в бытие, в какое-то новое бытие, где не существовало ничего, кроме нее и кроме него. Этот час, эта дымовая труба, это лицо, эта сильная рука—определяли ее судьбу. Она почувствовала, что вывобождается из под золотого колпака, от душного гнета, от всех цепей и сознает в данную минуту лишь одно—что существует, живет, спасена и находится в объятиях человека, чье имя, чей язык, чье прошлое ей неизвестны, рядом с кем она только женщиной, рядом с мужчиной... Мужчина и женщина—две жизни, спасшиеся от грозного хаоса стихий!..

На пароход! На пароход!—трезвонили колокола с пароходов, готовых отчалить и плыть—туда, сквозь туманы и мглу, в город Плоти, жизни и радостей жизни.

Крепко обнявшись на жизнь и смерть, пробирались Мариорджия и молодой рыбац сквозь водоворот толпы и были оторваны друг от друга у самых мостков—чтобы никогда уже не свидеться больше.

Оглушенная, стиснутая, перепуганная, с помутившимся сознанием затерялась она в гуще толпы. Даже имени рыбака, даже языка его не знала она, но вместе с ним как будто оторвали от нее полнеба, полземли, половину ее собственной плоти и крови. А тем временем пароход

за парохомом с ревом отходил от пристани и скрывался вдали со своим грузом из кивающих, кричащих, ликующих масс людских—стремясь в город жизни, к радостям жизни.

Последний гигантский парохом исчез в дымке тумана. На пристани и мостках толпились, ломая руки, пацанки счастья, не попавшие на пароходы; для них не хватило места, и некоторые в панике пускались бежать вдоль набережной на перегонки с пароходами, махая руками и крича, чтобы их приняли... бежали долго, прежде чем сдавались...

Александрсен сидел, с каменным равнодушием наблюдая этот горестный переполох. Не попал и он на отходившие суда, и уже замирали вдали ликующие крики пассажиров последнего парохода, плывшего в город Плоти.

А с большой дороги жизни подходили, ковыляя и хромая, последние жиденькие партии странников. Жалостное зрелище! Это был хлам, отсталые, сбившиеся в кучки слепые, глухонемые, слабоумные, калеки от рождения, больные и прокаженные—немошь и убожество.

Сердце Александрсена сжалось и болезненно забилося при этом зрелище.

— Я тут не при чем,—повторял он себе, пока бедняги плелись мимо.

Но вот он услышал веселые призывные крики. Это Леон, княгиня и статский советник манили его из бесстекольных окон разоренной гостиницы.

— Эге! Парохом-то ушел!—кричал статский советник.

— А пусть его ушел ко всем чертям!—крикнул Леон, смеясь.

— Слава богу, теперь можно вздохнуть,—кричала княгиня.

Александрсена вдруг поразила мысль, что они в сущности созданы из иного материала, чем все те несчастные толпы. Их не одолевала паника, не могли сломить никакие беды, ни свои, ни чужие. Весь в синяках и царапинах Леон стоял сейчас среди руин свежее, прямее, чем в минуты наивысшего триумфа. Княгиня, которая на большой дороге жизни стала в конце концов похожа на истрепанную уличную газетчицу, стояла теперь, задрванное кверху с самым благородным высокомерием... У статского советника челюсти были сжаты так решительно, во взгляде светилась такая твердая уверенность в себе... А вот подошел и Тюрко с Мельба, «потрясателем мира»... которого Александрсен вытащил полуживым из бочки с нечистотами... Один по одному вылезла из разных углов и нор и собралась вся компания академиков. Все одинаково стойкие, крепкие, наделенные какой-то толстокожей неуязвимостью и хладнокровной находчивостью. Эти умные, как ласочки и горностаи, жизнеупорные, сами себе помогающие люди не испытывали потребности ныть или сдаваться.

Напротив, несчастье как будто вернуло живой блеск их глазам, блеск стали на солнце.

Вывранные сначала из своего тепличного благополучия, а затем из отупляющего однообразия будней в толпе человеческой, они чувствовали, как вновь пробуждаются все их способности для разжигающей борьбы за жизнь.

Дюжина глухонемых забралась на льдину и поплыла.
— Ей-богу, и этих тоже тянет в город Плоти!—захотал во все горло хозяин гостиницы.

— Всетаки они плывут, а не стоят на месте,—холодно сказал Александерсен.

— Добрейший,—ответил хозяин и расхохотался так, что даже закашлялся,—ведь лед-то под ними растает!

В эту минуту льдина перевернулась, и все двенадцать пассажиров скрылись в волнах, как мелкая монета в копилке, бесшумно и безмолвно. Они ведь были глухонемые.

— И что им понадобилось там?—прибавил хозяин, взмахнул салфеткой и попросил позволения удалить клеща, который впился в меховой воротник Торбины.

Когда клещ был сброшен на пол и раздавлен, тоже не пикнув, компания распростилась с гостиницей и поспешила на пристань, где уже находились Уриан с Мариорджией и всеми остальными, усердно махая отставшим, чтобы они торопились.

Отходила одна из больших лазаретных барж с калеками и прочими отбросами—чесоточными, полоумными и т. п., и на ней-то удалось в последнюю минуту пристроиться академикам,—в самой переполненной, вонючей части судна, в невыносимой тесноте.

Семипалатая рука отдала причал, и баржа, виляя, поплыла вниз по реке под завывание еще оставшихся на пристани кучек оборванных сумасшедших, прокаженных и уродов. Они тоже хотели ехать и вопили и грозили барам, занявшим их места на барже.

Торбина (подобно всем начитанным в Писании) была настоящей ящерицей-медяницей в смысле робости, боязни всего, что так или иначе отступало от общих правил. Как раз напротив нее сидел безносый субъект с черной пастью, которая нервно то закрывалась, то открывалась. Его бородавчатые пальцы словно прилипли к кожаной сумке, и стоило Торбине шевельнуться, он, словно опасаясь, что его ударят, оскаливал зубы и рычал. Торбина взвизгивала, но Александерсен, отличавшийся свойственной рядовому простолюдину беззлой терпимостью к физическому безобразию, вздумал дружески похлопать безносого по шелудивой коленке, выглядывавшей из под лохмотьев. Тотчас же двое-трое товарищей калеки бросились на Александерсена и кто укусил его, кто оцарапал, шипя ему прямо в лицо.

Александерсен спокойно-вопросительно посмотрел на свои окровавленные руки, потом на них.

— Господи помилуй!—сказал статский советник:—Да они сожрут нас! Видели вы моего соседа?—спросил он по-французски. Рядом с ним сидел лопоухий человек, у которого нос и рот срослись в какой-то хобот.—Рр-рр-рр—рычал он все время.

— Чрезвычайно аппетитный!—ответила княгиня на том же языке. Компания рассмеялась, некоторые из слабоумных тоже, и настроение поднялось.

— Груз женихов в город Плоти!—сострил Леон.

На форштевне сидел, таращась в пространство, пассажир, похожий на зародыш, с раздутой от водянки головой и со сморщенным личиком.

Затем его заволокло туманом, и вся баржа потонула в тумане, в тумане туманов.

Немного спустя, стало так тепло, что мужчины сняли с себя куртки. Туман поредел; они плыли полутропической рекой. Раздались дикие крики радости. Рядом с бортами баржи плыли по течению южные плоды, апельсины и бананы. Все засуетились, бросились ловить. По всей барже слышалось смакующее чавканье и жевание.

Солнце светило на умных и глупых.

Леон стоял посреди баржи, обняв человека с хоботом, и декламировал свою знаменитую импровизацию:

Братья, за руки возьмитесь,
светит солнце всем одно...

Весь сияющий и трепетный, зоркий, шаловливый и гениальный, стоял он, головой выше окружающих—идиотов и гениев, протягивая свой сочный персик солнцу.

И Мариорджию, словно теплой струей обдало сознание, что Леон остается Леоном, и с нее соскочила вся блажь, которую она напустила на себя. Он был как бы на вершине всего творения, и она, выйдя из своего оценивания, кинулась к нему, схватила его руку и поцеловала. А Леон с королевским величием и рыцарской любовью поцеловал ее в голову.

Приблизилась ночь. Водоросли шуршали о наружные стенки бортов; до баржи долетал аромат миндальных деревьев и магнолий, смешиваясь с крепким запахом похотливой плоти соседа Мариорджи, косматого и дикого уроды, без рук, в зловонных лохмотьях.

Наступила полночь, теплая, тропическая. Пассажиры дремали, завернувшись в свои плащи, убаюканные отдаленным пением и щебетаньем птиц на берегах.

И вдруг, откуда-то издали донеслась по воде, словно теплое дуновение ночи, дивная гармония, дышавшая таким райским блаженством, что все замерли, внимая ей.

— Что это было?—шепнула Мариорджия обнимавшему ее Леону, когда звуки смолкли.

Никто не отвечал, но все смотрели друг на друга.

Все знали, что это звонят полуночные колокола в городе Плоти.

ГОРОД ПЛОТИ

Ночь миновала.

Баржа скользила в золотистом утреннем тумане.

И опять, но уже совсем близко зазвучал стоголосый перезвон башенных колоколов, сливавшийся в чудесную гармонию.

Туман рассеялся, и перед путниками выплыл из озаренных утренним сиянием вод грандиозный город с блестящими медными куполами и пламенеющими на солнце башнями.

Это был город Плоти.

Все пассажиры встали, как один человек—все, идиоты и полубоги, и глядели во все глаза, вытягивая шеи, дыша тяжело и глубоко. Мысли перестали работать. Языки онемели. Леон и человек с хоботом, княгиня и Торбина стояли, как братья и сестры, и, шурясь, разглядывали гигантский сказочный город, словно плывший к ним по водам.

Волны тихо плескали, колокола сладко звонили... в такт ровному, полному биению пульса.

Это был город Плоти, легендарный, прославленный

превыше всех чудес, город, сказочная слава которого пробиралась даже в детские, вылетаясь в самые первые детские сказочки мамок и нянек.

Город приближался. Колокольный звон становился все громче.

Каменные громады зданий, усеянных окнами и балконами, образовывали грандиозные улицы-каналы, широкие и глубокие, то разветвлявшиеся, то скрещивавшиеся,—настоящий лабиринт.

Устья каналов пестрели лодками; плеща бесчисленными веслами, спешили они под оглушительно-благозвучный звон утренних колоколов выйти в море, сверкавшее и горевшее, как в огне.

Леон не мог глаз оторвать, Мариорджия тоже, статский советник тоже, княгиня, приставив к глазам руку щитком, тоже... никто не мог глаз оторвать от волшебного города, который столько раз воспевался и изображался самыми пламенными красками, от этой заветнейшей мечты миллионов и миллионов поколений... становившейся теперь такой достижимой, близкой... близкой... близкой... отчего сердца всех трепетали и замирали.

И Александерсен смотрел на город, не отрываясь, как на откровение. И что-то внутри него плакало, как плачет дитя, найдя потерянную было мать. Что-то вырывалось в нем на свободу и оплакивало кровью сердца жалкое портновское существование, поглотившее его жизнь. Теперь перед ним воочию было чудо из чудес земных; прекраснейшая мечта жизни воздушно выступала из вод, приближалась к нему.

Первые лодки подошли уже совсем близко. Самая

передняя была голубая, следующая желтая и третья красная. В каждой сидели пестро одетые и полуголые люди, подвижные и крикливые.

Голубая лодка прошла у самого борта лодки Александерсена. Сидевший на носу человек повернул голову, всмотрелся, прикрывая глаза рукой и—вдруг громко засмеялся и закивал, как сумасшедший:—Тетенька Торбина! Тетенька! Тетенька! И ты здесь!..—кричал и хохотал он во все горло.—Добро пожаловать, добро пожаловать в город Плоти!

Торбина сидела вся багровая, онемевшая. Это был ее сбегавший племянник.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Сегодня был день праздника Весны.

Все глаз не спускали с моря, указывая туда пальцами, кивками головы, что-то кричали.

Вдали маячили огромные, как туманные фантомы, тяжело нагруженные барки, тихо, одна за другой, колыхаясь, плывшие в город с музыкой и пением.

Первая барка оказалась нагруженной яркими пышными цветами; управляли ею дети с прикрепленными к плечам крыльями, как у бабочек. Одурающе-сладкий запах олеандров и лилий заструился по улицам, опьяняя ликующие толпы.

Подопшла вторая барка, встреченная громом рукоплесканий.

Она была с грузом винограда, винных бочек, боченков, кувшинов и наливных, сочных плодов. Старики и старухи сидели, пили и смеялись, давили виноград и водили хороводы под звуки флейт.

Один из флейтистов скатился в воду; брызги разлетелась во все стороны; из львиных пастей на крышах били

фонтаны, отражая в своих струях солнечные лучи и облакая веселую барку, которая медленно, покачиваясь, поплыла по каналам и скрылась под прохладной сенью лиан и пальм.

Опять загремели рукоплескания с окон и балконов. Подплывала третья барка. Это был корабль Весны с королевой праздника.

На вершине горы из роз, одна на всей выложенной розами барке, возлежала обнаженная молодая красавица, с золотыми обручами на лодыжках, первая красавица в городе в данном году—слегка повернувшись на бок, свесив руки и грея свои груди на солнце.

В одной руке у нее была пышная роза. С улыбкой, кружащей головы, задорно кивнула она вниз толпе юношей, готовых прыгнуть в море с мраморной ограды набережной.

Быстро побросались они в воду и поплыли навстречу судну. Разжигające звуки фанфар прорезывали воздух, а с балконов и уступов набережной неслась старинная тысячелетняя песнь города:

О, расцветать, как розы,
и вянуть, как они...

Юноши карабкались на барку, до крови царапали себе руки и тело о шипы роз и стлкивали в воду других, чтобы взобраться повыше самим.

Самый сильный первым добрался до красавицы. Она шаловливо противилась до конца и сначала отдала ему свою розу, а затем уже самое себя под гром аплодисментов и звуки песни с лодок и балконов:

О, расцветать, как розы,
и вянуть, как они...

— Эге, как он старается...—крикнул статский советник и расхохотался...

Барка с юной красавицей проплыла. Она снова лежала одна на своей розовой горе, еще томная от ласк и окропленная кровью из царапин на теле юноши.

Звуки песни неслись к ней, цветы сыпались на нее, а струи фонтанов смывали с нее кровь...

Александрсен был странно потрясен виденным... как привязанный домашний гусь, услышавший в воздухе крики диких гусей... и бессильно хлопающий крыльями, держа привязь.

Снова зазвучали фанфары за много улиц-каналов дальше, раздались ликующие клики и рукоплескания. Это корабль Весны достиг новой остановки на своем пути вокруг города. Там ждали его новые толпы юношей, состязавшихся между собой за обладание юной королевой праздника.

И снова донеслась издали та же песня, приветствующая нового победителя:

О, расцветать, как розы,
и вянуть, как они...

А Торбина бродила одна по набережной и все поглядывала вниз за ограду.

— Чего вы там ищете?—спросили ее две-три пожилые кумушки и тоже поглядели туда.

— Флейтиста. Куда он девался?—спросила Торбина.

— Разве он не вынырнул?—с любопытством осведомились те.

— Нет!—с ужасом сказала Торбина.

— Стало быть, его утащили крокодилы!—решили старухи.

УСЛАДЫ ПЛОТИ

Велико было изумление Александерсена, когда он получил от именитейшего гражданина и верховного правителя города, близкого друга Леона Ахиллеса, приглашение быть его гостем в роскошном дворце Правосудия с широкими лестницами. Торбина позволила похитить себя своему племяннику, и Александерсен отправился в монументальный дворец, где был любезно принят элегантным и умным бургомистром.

Общество уже сидело за столом, обильно уставленным вазами с сочными плодами. В конце залы висел на стене портрет Леона Ахиллеса, под ним же гравюра на дереве, воспроизводившая большой портрет Александерсена, кисти статского советника.

— Хотел бы я знать, куда девался оригинал!—сказал правитель города. Он был пламенным поклонником Леона Ахиллеса и, как сам он, так и вся его семья, окружили Александерсена подобающим вниманием и почетом.

Александерсен высказал предположение, что оригинал картины приобретен императрицей Лизией.

Бургомистр самым категорическим образом отверг это. Картина исчезла бесследно.

У Александерсена голова кружилась от фимиама, от ярких красок, от всего этого изобилия и утреннего сказочного праздника. Он забыть не мог юной королевы весны... Она была олицетворением самой юности, самой весны и безудержной радости жизни.

— Кто она?—спросил он.

Правитель улыбнулся. В ту же минуту дверь отворилась, и вбежала его младшая дочь, юная и цветущая, босоногая и полуобнаженная, как и большинство в городе.

— Видели вы меня? Видели?—воскликнула она, торжествуя.

Александерсен остолбенел. Гиацинта, младшая дочь бургомистра—была «королевой весны», той самой красавицей, которая возлежала на барке, украшенной розами, и отдавалась победителям на глазах у всех.

— Почему вы меня не приветствовали?—спросила она.

— Милая моя девочка,—ответил с отцовской нежностью и гордостью бургомистр,—мы все стояли на балконе и кланялись тебе и махали платками.

Александерсен всматривался в молодую женщину, которая произвела на него такое огромное впечатление там... на расстоянии... в восторженном чаду народного праздника. Теперь он видел ее вблизи. Видел черточки плохо скрытого самодовольства в складке рта. Слышал чрезмерную изнеженность, избалованность в ее лепечущем голосе... И все это невольно расхолаживало его. Он не мог не видеть ее весенней свежести и юности, но не мог и отделаться от мысли: «А ведь ее здорово помяли сегодня».

В свою очередь молодая женщина, привыкшая к поклонению, к восторженно-жадным взглядам, к фимиаму и сладким серенадам, с изумлением глядела вслед этому чужестранцу, когда отец уводил его из зала.

— Кто это такой?—недовольно спросила она.

— Александерсен.

— Александерсен!—Она вскочила, глядя на гравюру на стене.—Он?!

Она выбежала на балкон и проводила гостя пристальным взглядом. Так вот он, Александерсен! Гость в персти! Великий холостяк!..

И он не обратил на нее внимания?!...

«Влечение и стыдливость—силы противоположные», пишет княгиня Катт: «слепые инстинкты, которые можно взрастить и извратить, укрепить и распустить до истерики, но с рассудком они имеют очень мало общего».

Холостяк Александерсен, во всяком случае, не поддавался ни той, ни другой силе, плывя в гондоле бургомистра по запутанным каналам города.

Люди—тонкие и толстые, в плюсовых воротничках пасторов, и в шелковых одеждах щеголей, и вовсе безничего—лежали и любились прямо на улицах, на мостовых и на пристанях, на ступенях лестниц и под воротами, льнули с отуманенными взорами друг к другу, как к самому бесценному человеку в мире, с которым никогда уже не смогут расстаться... А, немного спустя, высвобождались из объятий друг друга, закуривали папи-

роски и, насвистывая, расходились в разные стороны... Или вдруг вцеплялись друг другу в волосы, дрались... пока на них опять не находило, и пышущие ненавистью взгляды не становились вновь влажными и ласковыми... И они снова обнимались и целовались до того, что у них дух занимался, и они пыхтели самым смехотворным образом... Марионетки, движимые слепыми инстинктами.

Александрсен проплывал под портиками и крытыми мостами, мимо прославленных ресторанов, где именитые люди просиживали часами за едой. Прилежно и старательно развивали они свои телесные силы, изнуляли свои умственные способности до крайности, чтобы добиться больших доходов, и—бросали якорь здесь! Они сидели и ели, выпучив глаза, ничего не видя и не слыша; языки и челюсти ходили у них ходуном, как у старух или овец; они жевали, пережевывали, чавкали... пока глаза их не закрывались в истоме...

Животы у них были отвислые, или вздутые, как у беременных негритянок... Марионетки, движимые слепыми инстинктами.

Александрсен чувствовал отвращение. Он плыл мимо больших магазинов. В них была невообразимая давка. Все рвалось туда покупать и наряжаться... наряжаться... наряжаться... и щеголять. Вozами привозились туда убитые звери и птицы, чтобы люди могли щеголять птичьими перьями и звериными шкурами...

Крупные знаменитости вертелись перед зеркалами, причесываясь и перечесываясь на все лады. Большие лю-

ди стремились придать себе внушительный вид, а маленькие—быть на них похожими, точь в точь... Марионетки, движимые слепыми инстинктами...

Александрсен доплыл до самого «острова Смерти», где дымился, как вулкан, крематорий.

Лодки подвозили трупы. Труп за трупом исчезал в пламени, в жаркой, свистящей, поющей стихии... И в море с шуршанием текла из могучей пасти дракона широкая струя пепла. Пепла жителей города. А с крыши крематория разносилась в вечернем воздухе хоровая песня:

О, расцветать, как розы,
и вянуть, как они!...

НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ

Вечером Александерсен сидел на плоской кровле дворца правителя.

Внизу расстилался окутанный сумерками город; не слышно было ни криков, ни суетни, никаких отзвуков страдания или забот.

Явились два мага и, по знаку бургомистра, приступили к заклинаниям и волхованию. Чем дальше, тем с большим жаром и пылом трудились маги, и вот, над городом, на темном фоне неба, начал вырисовываться гигантский лик, спящий лик, формируясь из хаоса сумерек.

Все усерднее и усерднее старались маги, и—глаза лика раскрылись. Резче выступили очертания рта.

Но стоило магам отвернуться на минуту, хотя бы только для раз'яснения, или чуть ослабить свои старания, чтобы дать себе полюбоваться красотой лика, он начинал слабеть, блекнуть и таять.

— Он стремится назад в великое растворение сил,—шепнули маги:—в великий хаос бессознательности.

Оба мага не падали сил в радостном пылу творчества. Громкие стоны вырывались из их груди, колени подгибались... и лик в небесах расцветал ярче и ярче, всеми живыми красками жизни.

— Продолжайте, продолжайте!—стонал правитель города, полулежа в кресле...

Глаза лика становились все оживленнее, губы сладострастно алели...

— Открой нам свое имя!—вопиали маги.

И губы раскрылись, готовые заговорить...

— Еще! Еще!—шептал бургомистр, и маги, шатаясь, с глазами, налитыми кровью, продолжали свое дело... Наконец, сил их не стало: руки их опустились... и сами они упали, задыхаясь, с невнятным стенанием... А лик в небесах начал медленно таять, глаза подергивались влажной дымкой усталости, щеки бледнели, раскрытые губы застыли в сладострастном предвкушении блаженного растворения... Маги лежали на крыше, полузакрыв глаза, в корчах необузданного блаженства.

Лик в небесах исчезал, возвращаясь в родной хаос небытия... Чуть проступали полузакрытые глаза, с закатившимися белками, и отвисшие губы томно-чувственно раскрытого рта.

Наконец, все исчезло.

Стояла мертвая тишина. Маги лежали и что-то тихо бормотали.

Только теперь Александерсен обратил свой взгляд на бургомистра. Щеки его были пепельного цвета, и весь он как-то опустился в своем роскошном кресле, дыхание с трудом и хрипом вырывалось из его горла... глаза ввалились...

Двое слуг унесли его принять ванну и подкрепиться, а затем снова принесли к Александерсену, с которым он и просидел в долгой беседе.

— Жизнь и борьба изо дня в день,—говорил правитель города:—более чем приятно обостряют наше сознание, наше самоощущение. Природные инстинкты и влечения тянут нас обратно в покой бессознательности. Не так ли? Все мы созданы помимо нашей воли, рождаемся с криком, страдания подхлестывают нас и гонят к зениту жизни и силы. После того мы начинаем вкушать благороднейшую сладость жизни, блаженство падения обратно в материнское лоно смерти и великого небытия.

— Сладость?

— Да. Вы взгляните на простой народ,—сказал бургомистр.—Он еще не так-то высоко поднялся над небытием, а между тем все его стремления сводятся к тому, чтобы возможно скорее уночиться вновь, затратить как можно меньше трудов, ступенькаться, отделаться от своего беспокойного «я» в доме молитвы или в хмелю, и погрузиться снова в хаос, в блаженную пассивность. Он неохотно думает, неохотно чувствует, неохотно сопротивляется. Охотнее всего предоставляет поле действия колдунам и тиранам, а сам закрывает глаза, чтобы удобнее падать в небытие...

— Боже мой, да возьмите вы весь наш город... Что вы увидите здесь, кроме совокупления и опьянения? И то и другое—самоуничтожение, отказ от своего «я», падение. Из этих двух состояний совокупление благороднейшее, наиболее действенное; оно опьяняет нас, отдает все наше внутреннее «я» во власть изначальных инстинктов...

— Жаворонок, падающий стремглав с головокруглительной высоты—наша эмблема.

ГИАЦИНТА

Было уже поздно.

Александрсен стоял один на плоской кровле, устремив взгляд на город.

Хлебное дерево протягивало свои пышные ветви через мраморную балюстраду кровли. Снизу, с задремавших улиц, тянуло ароматом миндаля и олеандров; с каналов доносилось неумолчное плесканье бесчисленных фонтанов. А вдали, высоко над всеми куполами и шпилями, горел огненный столб на «острове Смерти».

Он обернулся.

Перед ним, во мраке, стояла Гиацинта, покорная и благоуханно-юная под покровом ночи.

Резкий дневной свет померк. Тьма дышала теплом и тайной, как недра самого сердца в те минуты, когда мысли блуждают где-то, а первобытные инстинкты и влечения всего сотворенного развертываются во всей своей слепой и благоуханной мощи.

Чувства ночи раскрылись. Чувства дня закрылись.

Он взглянул на нее. Она на него... И—одна за другой, одно за другим стирались его мысли и воспоминания,

испарялось все окружающее, таяли все его знания и опыт—горький опыт прошлого, знание законов настоящего, предвидение неотвратимого будущего.

И одновременно преображалась в его глазах она, становясь загадочным олицетворением весны, жизни и юности.

И его собственная бедная душа преображалась; превращаясь в тропический девственный лес сил и смелых желаний, упоения и непреодолимого влечения отдаться.

Они не обменялись ни словом. Он коснулся рукой ее волос, притяг к себе так спокойно и просто...хотя он же при дневном свете покраснел бы, увидав на столь близком расстоянии даже мизинец ее.

Всякая стыдливость, всякое целомудрие как будто развеялись прахом, и Александерсена подхватил вихрь молодости, бурного восторга и сжигающей лихорадки страсти, какой ему никогда и во сне не снилось.

Впервые замерла вечная неудовлетворенность и страстная тоска Александерсена... смолкли все вопросы, исчезли все загадки.

Душа его унеслась куда-то, его «я» исчезло. Блаженно утопая в слепой неге полусознания, отдался он во власть древних инстинктов природы—борясь, захлебываясь, мнятывая глубокое и бесконечное удовлетворение... Всякий светоч погас, всякая мысль остановилась.

Фонтаны плескались и журчали в сонных каналах. Александерсен, полусидя, полулежа около влажной

от росы баллюстрады, смотрел, не отрываясь, вниз на чудесный город, держа руку Гиацинты в своей.

Струны его сердца, как струны только что бурно рокотавшей арфы, все еще трепетали и звенели.

Все его сознание было заполнено одним, почти сводившим его с ума представлением: он обладал этой рукой, этими прекрасными плечами, этой дивной шеей, этой прелестной головкой, склонявшейся к нему безмолвные, пылающие уста—молча, как роза тянется к другой розе. Вся, вся эта роскошь телесных форм, весь этот открытый рай наслаждения и тепла принадлежал ему... каким-то чудом ему.

Сам он уже не был прежним. Он смешал свою кровь, слил свое существование, свое блаженство, свое тело, свой стыд и бесстыдство с другим существом, и его собственная кровь и жизнь тем самым обновились, окрепли, стали пьянящей силой.

Радугой перекинулось над ним влечение, и его тянуло броситься в эти сияющие врата, исчезнуть там.

И он обнял ее. Он уже не был Александерсеном, он был только безымянным дыханием, криком навстречу другому крику, жизнью навстречу другой жизни... И снова ринулся он в бездну наслаждения, навстречу второй половине своего «я»—как ласточка навстречу своему отражению в море—стремясь слиться с ним, но никогда не приближаясь к нему достаточно близко... никогда не сливаясь с ним достаточно тесно... отданный на произвол необузданных сил тропической ночи...

Была полночь, и все бесчисленные городские колокола звонили... звонили и звонили, создавая бесконечную гармонию звуков.

Они стояли на крыше, когда солнце восходило над пышными царствами природы, над сверкающими водами, над куполами и пламенеющими башнями.

Тут только пробудилось в нем сознание: «Я ведь Александерсен»,—но без примеси смирения или чувства неловкости.

Фонтаны били солнечным дождем, а он стоял, крепко прижав к себе Гиацинту, и с новой, неведомой ему до сих пор кипучей отвагой, глядел на этот роскошный гигантский город. Вот где теперь его родина, настоящий город его жизни, к которому он слепо стремился в своих беспомощных кротовых грезах. Он полюбит этот город, подымет его... Ничто не казалось ему теперь невозможным, так властвовали в нем инстинкты. Желать было как будто то же самое, что победить.

И звон, вырывавшийся из сотен колоколов, как будто баюкал весь мир, колыхавшийся, как лист водяной кувшинки под пение птиц навстречу солнцу.

— Вот и он! Вот и он!—вдруг воскликнула Гиацинта, захлопав в ладоши.—Иду! Иду!—прокричала она кому-то вниз и вырвалась.

Александерсен, ошеломленный, поглядел туда... Там стоял юноша... вчерашний пловец, молодой победитель, первым взобравшийся на барку.

Вихрем слетела Гиацинта по лестнице дворца и бросилась в его объятия... И они отплыли в лодке, озаряемые утренним солнцем, и она, ликуя, кивала на прощанье Александерсену, оставшемуся на крыше.

В ту же минуту к Александерсену вернулся его «рассудок». Быстрее молнии, с безумной болью спрятались вглубь раненные инстинкты. Все выпренные чувства Александерсена завяли. Все краски как-то поблекли, все звуки стали несколько глуше, все планы сомнительнее, все желания утратили свою силу и настойчивость. Торжествующее учащенное биение сердца стало более механическим и ровным.

Александерсен снова стал Александерсеном, бедным провинциальным портным, который взобрался на слишком высокую крышу, откуда и смотрел, озадаченный и опечаленный, на свой исчезающий рай.

Он с отвращением озирает теперь эти улицы и переулки, эти места для насыщения желудка, эти площади для утоления похоти, где люди, словно крикливые утки, барахтались в тине пошлых и низменных наслаждений. Он смотрел вслед Гиацинте, отплывавшей на лодке... и не окликнул ее, ему больше не нужно было этой глупенькой састололюбивой гусыни.

Какое кощунственное надругательство совершено было над ним, какой грех перед мировым порядком, перед великими, свежими, живыми инстинктами!

Стиснув зубы, замкнувшись в себе, спускался он по лестницам, ступень за ступенью. Кто-то вышел, окликнул его, стал удерживать, вразумлять. Он не отвечал. Только

отмахнулся и, выйдя на улицу, затерялся в шумной толпе... Он испытывал настоящую тоску по Торбине, по своей милой старой, надутой и упрямой Торбине, по честной и солидной Торбине.

Александрсен нашел себе подвал, где и устроил мастерскую. И прожил там суровый и нелюдимый два-три месяца, зарабатывая себе иглой кусок хлеба. Там отыскала его Торбина. И там застигли их надвинувшиеся на город осенние бури с ливнями и наводнениями.

ОТ'ЕЗД

Осенние бури бушевали над городом. Днем и ночью бурлили в каналах гонимые ветром высокие волны. Наконец непогода стихла.

Александрсен, унылый и суровый, сидел у себя в подвале и шил. Мимо плыли лодки—все в одном направлении,—люди бежали из города. Брюзжащие, измученные бессонницей, с опустевшими карманами и полными болезней телами гребли они, с проклятиями и бранью, по этому бесконечному лабиринту улиц-каналов, в которые они с таким ликованием врывались.

— Портной! Портной!—раздались веселые голоса с одной из лодок. Это были «академики»; они причалили около его дверей и забрали его с собой.

Они восхваляли, воспевали, живописали и прославляли этот дивный город в назидание поколениям людским. Но сами не могли здесь ужиться.

Они были людьми труда. И задыхались в этом тепличном воздухе, где увядали всякие способности и силы. Они страстно стосковались по борьбе, по соперничеству и победам.

Вперед, вперед, в открытое море, где пахнет соленой влагой. Сильные удары их весел быстро подвигали лодку вперед, и только они одни, радуясь развязке, озирались кругом.

— Глядите! Глядите!—воскликнула Мариорджия, побелев, как мел.

Волны выкинули на мраморные ступени молодую женщину и опять поволокли ее за собой... Маленькие, мягко округленные руки раскинулись в воде; пучок водорослей опутал дивную ногу... на лодыжке блеснул золотой обруч...

Это была дочь правителя города.

Волна отхлынула, обнажив девственные груди... Затем зеленые воды вновь подхватили ее, и она исчезла, как белое видение, в глубине под лодкой.

Александрсен видел, как сверкнули белки глаз. Уловил по-детски раскрытый рот, с опущенными уголками губ.

Две женщины, стоя на балконе, вытянули зеленую водоросль в сажень длины.

Так высоко поднялась вода.

Мужчина и женщина, оба голые, с'ежились на крыльце, возле обломков разбитой лодки. Толстенное бревно ткнулось в лодку, где был Александрсен.

Это оказался крокодил. И в зеленой прозрачной водной глубине ныряли какие-то огромные тени. Это были крокодилы.

Безумные вопли неслись с широкой лестницы дворца Правосудия. Семь-восемь крокодилов ползли вверх по ступеням, с которых сбежала вода. Два из них надвигались на мужчину, защищающего женщину и ребенка. Она хрипела от ужаса.

Поднялась новая волна, и, когда она схлынула, лестница была пуста.

В тихих, освещенных солнцем улицах все набережные были усеяны крокодилами, как мухами. Они лежали на солнце, мокрые и черные, вдоль и поперек... между обертками человеческих тел и вывалившихся внутренностей.

В соседней улице гремела свадебная музыка, раздавался смех и звон кубков.

На завороте канала показалась флотилия трупов, уносимых быстрым течением. Некоторые из них тихо переворачивались и качались на воде с распростертыми руками, другие проплывали под ними.

Скорей, скорей!.. Прочь из этого отвратительного города!

В гавани стояли большие пароходы для пилигримов, содрогаясь от разведенных паров, готовые отчалить с пилигримами от этого бренного суетного мира и направиться к более надежным, скалистым берегам.

Женщины приводили жалких мужчин, мозг которых не выдержал излишеств жизни в городе; особенно много

было молодежи, слишком наивно отдававшейся наслаждениям.

— Прочь, прочь отсюда!—вопиали они, хватаясь за голову, чувствительную, как нарыв.—Мы слишком много читали, слишком много думали!—жаловались они, выгибая истощенные прелюбодеяниями спинные хребты.—О, спасите нас, спасите нас!—И, шатаясь от головокружения, с закрытыми глазами давали погрузить себя на большие пароходы, отплывавшие в город Духа.

Выпрямившись, молча, прошел на пароход и Александерсен. Выпрямившись, молча, стоял он и смотрел, как становится все меньше и меньше, отходит все дальше и дальше город Плоти. Колокола его звонили, куполы горели. Город Плоти был сказочно прекрасен с виду, и тем прекраснее, тем сказочнее, чем отступал дальше—витая над водами.

„КОВЧЕГ“

От земли—юдоли скорби
отплываем в светлый рай!..

Отовсюду—с верхней и средней палубы, с трапов, из кают и с командирского мостика уносились в морской простор эти звуки, дышавшие страстной тоской о рае.

Гигантский пароход назывался «Ковчегом».

— Назвали-то его «Парком»,—рассказывал капитан,—и каждый рейс приносил большие убытки. Почему? Никто понять не мог. Наконец, испробовав все средства к привлечению пассажиров и груза, судовладельческая компания передала дело на волю божию.

— И что же?

— Мы наскочили на угольное судно...

— И пошли ко дну?

— Нет, слава богу, не мы, а угольщик. Мы потеряли только первую букву названия судна.

— И получили новое имя—Ковчег? ¹⁾.

¹⁾ Непереводимая игра слов: „Parken“ парк и „Arkpen“ ковчег (Примеч. переводч.).

— Именно. Вот какой безделицы бывает достаточно. С тех пор мы стали излюбленным судном паломников. Стало быть, всему мешала первая буква, ее надо было похерить. Да, да. Во всем чувствуется высшая десница, добрейший.

Наступила ночь.

На утро ясно обнаружилось, что Ковчег—судно паломников.

На нем кишмя-кишели арабы, индусы, буддисты, католики, миссионеры, пуритане и грундтвигианцы. Были и квакеры, адвентисты, янсенисты, израэлиты, ирвингиане, бантисты, анабаптисты, мормоны, монахи ордена Фомы, Иосифа, Петра, Якова, черные монахи, белые монахи, монахини и аббаты. Были сальвационисты, рационалисты, гусситы, грегориане, пресвитериане, миллерицы, хетиты, солнцепоклонники, лунопоклонники, фетишисты и многие прочие. Были праздновавшие воскресенье и праздновавшие субботу или пятницу, были водокрещенцы, огнекрещенцы, перекрещенцы, унитары, спириты и теософы. Были вегетарианцы, рыбоядцы, лягушкоядцы, саранчоядцы, хлебоядцы и свиноядцы—во всевозможных одеяниях, со всевозможными значками и эмблемами.

Показалось солнце—небывало огромное и красное. Легко всплывал чудовищный шар из волн морских. На встречу ему неслись гимны на всех языках, от представителей всех религий и сект.

Александрсен был сбит с толку.

Волны океанские с грохотом ударялись о железную

обшивку Ковчега; с каждой минутой все дальше и дальше становились беспокойные берега мирской жизни, а между тем никогда еще не испытывал Александрсен такого упорного раздражения, такого невыносимого смятения душевного, как теперь, приближаясь со священным трепетом к берегам Духа, где ожидал обрести мир и покой превыше всякого разума, найти разрешение всех загадок жизни.

Неподалеку серьезно беседовала о чем-то группа почтенных старцев. «Должно быть, взыскуют истины»—подумал Александрсен и подошел к ним.

Увы! Они говорили о мозольных пластырях.

Несколько степенных женщин, только что спев покаянный псалом, осушали глаза. Александрсен направился к ним и прислушался к их беседе.

Они обсуждали новые способы набивания колбас.

Старый адвентист, окруженный молодежью, повествовал внимательным слушателям о ревматизме, засевшем у него в левой ноге.

Зато каждая секта держалась строго особняком.

Александрсен, полагая, что столь сильный общий интерес к колбасам и мозолям достаточно солидная платформа для взаимного сближения и понимания, стал хлопотать об устройстве собеседования на религиозные темы, но, к своему великому удивлению, всюду наткнулся на решительный отказ. Есть с тех же тарелок, пользоваться тем же клозетом соглашались, но в духовном отношении между ними не могло быть абсолютно ничего общего.

— А, ну их к чорту,—сказал Уриан,—оставьте их в покое!

— Но ведь они враждуют между собой,—возразил Александерсен.

— Это они просто с жиру бесятся. В хорошее сытое время все союзы и партии готовы лопнуть от пущей важности и знать друг друга не хотят. Это всегда знак благоденствия... А напустить на них чорта—все разом собьются в панике в одну кучу. И такое время называется у них «великим временем». Тогда, стало быть, «их посетил дух» или... травит чорт!—добавил он.

«Ковчег» начало качать. Надвигалась буря.

— Только бы не пойти ко дну! Только бы не пойти ко дну!—охал одинокий старик.

— Мы пятеро верим в провидение!—заявила забившаяся между керосиновыми бочками пожилая особа в красноклетчатом одеянии.

— Но я не могу верить, не могу!

— И я тоже,—жаловался третий.

— Обединитесь,—посоветовала красноклетчатая,—тогда и вера придет.

Надвинулся туман.

Александерсен стоял на штевне.

— Большая тут глубина?—спросил он.

— Целая миля,—ответил матрос.

«Скользим в тумане над бездной. Я только гость... живой или мертвый, горячий или холодный... гость, направляемый рукой вечного».

Из тумана впереди донеслась громкая ругань. Нос чудовищного корабля внезапно вынырнул из тумана, и оба судна прошли борт о борт, скрежеща обшивками.

Железный корпус Ковчег содрогнулся, и все бывшие на нем тоже.

В одно мгновение все секты и вероисповедания соединились в общей молитве промыслу—на время тумана. Образовались молитвенные цепи—от носа до кормы—и таким образом удалось избежать столкновений с другими судами. В невидимом защитном облаке молитв скользил священный Ковчег в ночной мгле.

— Идем благополучно,—сказал Александерсен.

— Да, отозвался капитан,—но тут плавают ледяные горы.

— Несчастный!—крикнула красноклетчатая.—Надо было упомянуть и о них в нашей вечерней молитве! А теперь все уже уснули с твердой верой и надеждой!

И она наспех собрала вокруг себя кое-кого, чтобы образовать новую молитвенную цепь... Но их оказалось слишком мало, да и поздно уже было.

Раздался страшный грохот. Огромные ледяные глыбы, величиной с целый воз, валились в непроглядном ночном мраке на палубу и мачты.

Маленький пробел в вечерней молитве, и—судьба Ковчег была решена. Новое доказательство легкомысленного пренебрежения людей духовными силами, находящимися в нашем распоряжении.

В развевающихся ночных одеяниях, с криками, заматались пассажиры при свете фонарей между ледяными

глыбами и ключьями пены. Настоящее вавилонское столпотворение, оглушительная сумятица.

Медленно наклонялась на бок палуба, и словно на салазках катились за борт, в гороподобную, весело зыблющуюся тьму перемешанные в кучу люди и ледяные обломки.

«Гость... гость в жизни»—гудело колоколами в ушах Александерсена во время этой дикой паники.

— Тонем! Тонем!—вопили красноклетчатые и синеполосатые дамы, трясаясь в смертельном страхе, выгнали из спасательной лодки детей и забрались в нее сами. Шляпки, шали, клубы пара и люди летели вокруг них за борт, в пенистые волны, как сухая листва, гонимая осенним ветром.

Александерсен оставался спокойным и наблюдал, улыбаясь. Итак, перед ним развертывалась последняя глава его жизни. Много видел он в течение своей жизни, но никогда и ничего столь невероятного, причудливо-уродливого. Он забыл о себе, заглядевшись на эту безумную свалку «паломников в рай». Выкатив глаза, дико отбивались они руками и ногами от врат рая, состязуясь в том—кто войдет туда последним.

А за всей этой кутерьмой бури, льда, ночной тьмы и воплей чудился Александерсену живой розовый куст: розы отцветали и осыпались, самый куст оставался. Теперь пришел черед и Александерсена, как миллионеров до него. Вот и все.

И вдруг, его словно подкинуло на качелях, к небесам, затем с размаху бросило в бездну. Черные водяные стены поднялись к звездам и обрушились на него.

Судно тонуло, выделявая невероятные выкрутасы в морской бездне. С полчаса погружалось все глубже и глубже, пока не достигло скалистого дна, где и успокоилось.

Александерсена завертело водоворотом. Руке его не за что было ухватиться в эту последнюю минуту, кроме другой его руки, но в мозгу его звенело, что теперь уже все равно. Живая душа его похолодела в холодном море, как улитка, и лишь чуть трепетала безо всякого желания жить.

Яркое, теплое взойшло над морем солнце, солнце жизни. И жизнь вернулась к Александерсену, распростертому на большой льдине. Душа в нем оттаяла.

Во второй раз пробуждался он к жизни, но теперь колыбелью ему служило море. Его не баюкала песня матери; лишь дикие птицы кричали над ним.

Вблизи показалась лодка с растрепанными созданиями в рубашках и шерстяных штанах.

Почтовый пароход подобрал всех и высадил на надежный скалистый берег.

А на прибрежный песок выкинуло сотни трупов. Сто тридцать четыре уцелевших пассажира устроили торжественное молебствие в благодарность промыслу за свое спасение от гибели, а затем бесконечное траурное богослужение—за упокой тех, кого провидению не угодно было спасти при этих трудных обстоятельствах. Люди восхваляли бога за его милосердие, всемогущество, снисходительность, славили его дивное величие, всеведение и красоту... кланялись и льстили ему,—выражаясь фигураль-

но: лизали ему руки, а моряки зашили 2.800 злополучных утопленников в клеенку и закопали в землю, так как больше с ними нечего было делать.

Но две пожилые безутешные дамы, одна в красных клетках, другая в синих полосках, собрали вокруг себя большую толпу своей души раздирающей, необузданной скорбью; и чем больше скоплялось свидетелей, тем отчаяннее они вопияли и стонали:—Адольф! Адольф! Зачем мы не утонули с тобой! Зачем не суждено нам было вместе войти в рай!

Мольбы их были услышаны. Внезапное землетрясение поколебало скалистый берег, большая дымовая труба таможни рухнула и сюрпризом отправила в рай к Адольфу синепопосатую. У красноклетчатой хватило еще голоса крикнуть:—Умираю! Умираю! Скорее доктора!

— Тут нет ни одного,—ответили ей.

— Вот безобразие,—проговорила она, поджала губы и умерла.

Земля продолжала содрогаться, и моряки поспешили сесть на свое судно и выйти в море, где было безопаснее.

— Всемиловейший боже!—воинял пилигрим, не выносивший качки,—ни на море, ни на земле не на что опереться моему бедному телу!

Тут его хватил апоплексический удар, и рот у него очутился на боку, как у камбалы.

Тогда он пробормотал невнятно, что и на собственное свое тело не может опереться.

— А мы можем!—кричали другие. Вознесли хвалу богу и купили себе длинные посохи и плащи с капюшонами для напоминательства в город Духа.

Гибель Ковчега всех ужаснула и навела на мрачные мысли. Зачем дано было совершиться такому несчастью? Зачем, зачем?.. Наконец, знаменитый старый пастор, профессор, лицензиат и доктор трех наук, нашел объяснение.

Одна духовная газетка сообщила в рубрике новостей, что Леон Ахиллес, великий богохульник, намеревался посетить город Духа вместе с Александерсеном и был в числе пассажиров Ковчега. Вот, значит, его, наконец, и постигла кара.

К сожалеению, газетку ввели в заблуждение. Леон с большею частью компании отправился на накетботе, благополучно переплыл море, отыскал Александерсена с Торбиной и прочими в одной из гостиниц в гавани, и все вместе отправились в труднейший поход в город Духа.

ГОРОД ДУХА

Два дня шли пилигримы по извилистым дорогам и тропам в гору Духа, высившуюся над ними мощными сводами. На самой вершине ее царил над прахом земным легендарный, воспетый с древности город Духа. Запыленные, усталые добрались они до прохладных священных рош, окружавших город. Высоко над шумным миром с его суетой и тленом, вступили пилигримы в те святые места, где с незапамятных времен обретали покой усталые мысли человеческие, как усталые голуби.

С благочестивым умилением шли они по бессмертным улицам, где блистали на вывесках погребков и лавочек имена и названия дорогие миллионам сердец. В этих погребках и лавочках торговали такими прославленными товарами, как живая вода, живое вино, живой хлеб.

На стенах домов и на вывесках привлекали внимание пилигримов назидательные надписи огромными буквами: «Странник, странник, спасай свою душу!» Или в стихотворной форме:

Душа святая,
помни о рае!

или:

Дружно все в ногу,
дойдем понемпогу!

или:

Странник, берегись,
дьяволу не попадись!

Тут были лавочки, торговавшие хитонами воскресения из мертвых. Ларьки, где продавались икусовы крепдельки, райские пирожки, богородицны поцелуи ¹⁾, ангельские батоны и небесный ералаш.

С детской радостью заходили пилигримы туда и сюда, восхищались и покупали. Деньги так и текли в металлические кассы, куда ни обернешь.

Под деревьями сидели торговки «живою водой».

— Это живая вода?—спросил Александерсен, вынимая кошелек.

— Да, господин, извольте. На двойную бутылку скидка. Пустые бутылки принимаем обратно.

— Но почему это *живая* вода?—спросил Александерсен.

— Потому что это живая вода,—ответила она.

— Но почему-же?—настаивал Александерсен.

— Почему?!? Если господину не угодно, он может не покупать!—закричала она и повернула ему спину.

— Гоните его в шею отсюда!—кричали обозленные пилигримы, стоявшие в длинных очередях, с деньгами наготове.

¹⁾ „Везе.“

Надувные резиновые пишалки и жестяные трубы пролагали дорогу процессиям с образами, свечами и хоругвями.

— Смотрите, какое большое торжественное шествие!— восклицали пилигримы.— Пойдем и мы!

Александрсен спросил:— Зачем?

— Затем, что хотим,— ответили они, глядя на него во все глаза.

— Но зачем же вы этого хотите?

— Если вы не хотите, так и не ходите!— сказали они насмешливо.— Это дело вольное.

Александрсен чувствовал себя преступным в своем одиночестве.

Старые, старые воспоминания, застрявшие в недрах его сердца с детских лет, подымались оттуда и кричали:— В этом есть под'ем! Ступай с ними!— Но разум его, озираясь с высоты своей старой мудрости, вещал:— Оставь, все это вздор и шарлатанство!

Дети с гордостью выступали в процессиях, не спрашивая: зачем? Они шли, куда шло большинство и где знамена веяли всего пестрее, а трубы звучали особенно пронзительно.

Давка на улицах была невообразимая. Александрсен отдался течению, вынесшему его к тысячелетней дубраве, откуда широкие, как улицы, бревенчатые ступени вели на вершину горы, на площадь Торжеств.

На палатках и триумфальных арках трепались по ветру флаги. Лавочки и ресторанчики попадались на каждом шагу. Тут Александрсен встретил всю свою ком-

панию в самом веселом расположении духа. Леон Ахиллес, в длинном хитоне воскресения из мертвых, выступал между двумя блаженными, старыми пилигримами, ведя каждого под руку. Мариорджия шла в сорочке невинности, с неугасимым светильником в руках. Все веселились от души.

«Господи, да ведь они ни во что такое не верят!» думал Александрсен.

Решено было зайти к гадалке.

В соседнем балагане исцеляли больных силой молитвы. Об одном человеке со сведенной ногой молились три часа, и нога у него вытянулась на целый вершок длинней, чем следовало; теперь он, вне себя от волнения, просил, чтобы ее снова укоротили.

Перед палаткой гадалки стояли длинные очереди ожидающих графинь, уличных прелестниц, профессорш и готентоток—вперемежку.

Гадалка вызвалась погадать по линиям руки княгини.

— Разве эти линии действительно означают нечто?— спросила княгиня с волнением.

— Разумеется. Что же им иначе и обозначать?— ответила гадалка.— Вот идет линия жизни.

— А почему это линия жизни?— спросила княгиня.

— Потому что это линия жизни,— сердито сказала гадалка.

— Но почему же—добивалась княгиня.

— Будете вы гадать?— раздалась негодующие голоса кругом.— Иначе проходите и дайте место другим!

— А могли бы вы предсказать судьбу моей собаке?— спросил Леон, подходя к дворяжкой.

— Разумеется могла бы, — колко ответила мадам. — Но у нее нет линий.

— Есть, есть! — сказал Леон и завернул кверху обрубок собачьего хвоста, чтобы гадалка посмотрела.

Шум и гвалт. Стали звать полицию, и под эти крики пасмешник был вышвырнут из палатки бесноватыми профессоршами и набожными прелестницами.

Вся атмосфера была насыщена благоговением и священными предчувствиями.

— Вон лежат две соломенки крест-на-крест, — сказал старый паломник. — Бог знает, что это должно обозначать? — и он погрузился в размышление.

— А вон на столбе сидит сорока! — крикнули две молоденькие девушки. — Что это обозначает?

Александрсен качал головой. Он жаждал отдаться этому благочестивому настроению и ликованию. Но не мог!

— Купите слово божие! — звывала старушка в синем.

— Нет, нет! У меня! — визжала приземистая мадам в зеленом. — У меня самое настоящее слово божие! У нее поддельное!

Народ толпился около обеих.

— Эй, вы, сюда! Сюда! — кричал человек, стоя на бочке. — Ручаюсь вам: всякий, кто купит эту книжку, будет спасен!

Били барабаны, пронзительно цикали цикалки, и высоко над толпой поблескивала гигантская статуя Деодата. Он стоял во всей красе своей юной наготы и целился из лука в солнце.

Из заливавшего площадь моря народного выступал

холод с высокой, заостренной скалистой верхушкой, на которую вела высеченная в скале винтовая лестница.

Это была знаменитая «высшая точка жизни», на которую никогда не ступала нога человеческая, за исключением тех дней, когда восходил туда престарелый первосвященник горы Духа — послать оттуда, всему миру свое отеческое благословение.

— Назад! Назад! — кричала стража народным толпам, стремившимся узреть святое место, откуда открывалась тайна жизни.

Священные трубачи в великолепных одеяниях появились на уступе скалы и затрубили.

Все замерли, затаив дыханье. Старец взбирался по винтовой лестнице. Ветер развеивал его длинную серебряную бороду. Вот он на самой вершине — в развеивающейся мантии, простирая дрожащие руки над необозримой землей и вперив умиленный взор туда, в белое сияние, где его блаженные очи видели разрешение загадок жизни.

Он стал спускаться. Вызолоченный лук Деодата искрился на солнце. Рокот моря людского снова утих от грома священных труб. Над горой как будто пронеслось священное дуновение, и тысячи голосов панически грянули гимн.

Александрсену чудилось, что он стоит перед дверью великой тайны. Для него эта дверь была заперта, но для всех других стояла настежь. Не откроется ли она и для него здесь?

С веселым шумом обступила его компания и показала ему большие пестрые афиши. Они оповещали о назначенном на завтрашний «день из дней» грандиозном собра-

нии, на котором выступит с проповедью мировая знаменитость «апостол язычников». Но замечательнее всего была маленькая красная афиша, приклеенная внизу и сообщавшая, что на собрании появится и сам Александерсен, знаменитый «гость в персти».

Он был изумлен до глубины души. Кто знал его здесь? Что знали о нем? Но компания, смеясь, окружила его и пошла с собой в громадную гостиницу «Многие обители».

МНОГИЕ ОБИТЕЛИ.

Весь шум мирской как будто замер, когда стеклянные двери гостиницы бесшумно затворились за ними. Навстречу им улыбался с распростертыми объятиями мраморный «ангел-хранитель дома». Светлые, теплые коридоры были устланы мягкими коврами, безмолвные слуги приняли платье и багаж гостей и повели их в ванны и в спальни. Чуть слышные звуки органа, журчание фонтанов и аромат гиацинтов разносились по коридорам и залам. Всё, что может усладить чувства земные, было собрано здесь в гостинице «Многие обители».

Неслышной поступью подошел хозяин—сияя радостью, говоря шепотом, смиренно склонив голову на бок, и положил свои мягкие руки на плечи Александерсену.

— Добро пожаловать, гость в персти! Счастлив день, когда сам Александерсен удостоил зайти под кров мой. Как нельзя более кстати!

— Почему же?

Разве он не знает? Апостол язычников, новый Петр, прибыл вчера в гостиницу, а завтра в «день из дней» выступит с проповедью на собрании. В городе занят каждый

хлев, каждый сарай, каждая койка—за баснословные цены. Толпы пилигримов ночуют в рощах, так сказочно велик интерес к завтрашнему собранию. Прибытие Александерсена произвело беспрецедентную сенсацию.

Нельзя ли Александерсену повидать знаменитого проповедника до завтрашнего собрания?

О, ничего нет проще! За обедом он займет место в конце стола, как раз напротив самого Александерсена, который будет, разумеется, председательствовать на своем конце.

И, погладив Александерсена по спине и по груди, хозяин обнял его за шею и провел по роскошным комнатам, подготовленным для него и его свиты. Хозяин показывал и помогал устроиться, порхал и шептал и, наконец, скрылся так же смиренно, бочком, как и явился.

Зазвонили к обеду. Стол изобилует лакомыми блюдами, зал кишит шепчущими гостями и лакеями.

Ученый капеллан (с дипломом первой степени) прочел предобеденную молитву с самыми мастерскими интонациями и с составлявшей его славу выразительнейшей мимикой.

Александерсен глядел на другой конец стола, где сидел на своем месте сенсационный гость. Но его еще тесно обступала толпа друзей и пилигримов, которые взапуски щеголяли своим личным знакомством с этим загадочным апостолом, «пробившимся» за последние полгода в мировые знаменитости и, главное, побившим все рекорды своим сенсационным вездесущием.

Наконец, Александерсену удалось рассмотреть его.

Кусок застрял у него в горле. Завтрашняя приманка, перл города Духа, руководитель миллионов душ, любовь и гордость паствы, новый Петр... оказался чернокожим людоедом, хозяином гостиницы в «Новом поселке», гнусным лицемером, от которого Александерсену пришлось спастись бегством в пустыни и чащи. Да, это он сам сидел там, хлебая из тарелки и кидая время от времени быстрые, как молнии, взгляды своих налитых кровью глаз на другой конец стола, где занимал место сбежавший от него постоялец.

«Так вот оно что!» думал Александерсен в лихорадочном возбуждении, теряя минутами свое обычное самообладание... Ковер, ковер-самолет помог этому чернокожему пробиться. На украденном ковре он в течение полугода летал из прихода в приход и теперь с свойственной ему чудовищной наглостью готовился вступить в избранный, тесный круг именитых, великих, славных!..

Не бывать же этому!

Вон он сидит там, толстый, жирный, черный и лукавый. Завтра он завершит свой триумф. Завтра голос его раздастся с горы Духа, в «день из дней»... Но погоди еще!..

Александерсен заставил себя успокоиться. Он разрушит планы чернокожего. Настоящее чудо, что он явился сюда в самый решительный момент, чтобы предотвратить скандал.

И он внимательно всматривался во все эти бесконечно ничтожные лица за столом. Они блаженно лепетали, вертелись, шептались и кивали друг другу, не подозревая, что сидят за одним столом с настоящим людоедом, с гнусным разбойником. Да, этот сидящий у противоположного

конца стола черный, лоснящийся гость, хитростью и лукавством превосходит здесь всех, авторитетом же равен Александерсену.

Необходима осторожность, бережное отношение к месту, к обстановке, но к нему — Александерсен будет беспощаден!..

Ему вспомнилось, как легко он тогда ошеломил монахинь, действуя, как власть имеющий. А тогда ведь он был еще простым портным. Теперь его слава облетела полмира. И пусть чернокожий за это время успел на краденом ковре облететь полмира, — все-таки он будет посрамлен!

Обед кончился. Александерсен решительно отодвинул свой стул и попросил у хозяина разрешения побеседовать с ним.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

— Не угодно ли пожаловать в мой частный кабинет? — прошептал хозяин, почтительно вводя именитого гостя в полутемный кабинет с плюшевой мебелью и картинами благочестивого содержания.

— Могу я поговорить с вами о чернокожем проповеднике?

— Садитесь, — благоговейно шепнул хозяин.

— Я его знаю лично.

— О, как это интересно! — прошептал хозяин, и глаза его увлажнились.

— Он людоед, — сказал Александерсен.

Хозяин вскочил, шмыгнул к дверям, тщательно задернул их портьерами и вернулся на цыпочках к своему месту.

— Господин Александерсен наверное ошибается, — прошептал он.

— Я сам останавливался в его гостинице, — сказал Александерсен: — и лишь с трудом вырвался из его когтей.

Хозяин молчал, нервно прислушиваясь к шагам в коридоре.

— И я рассчитываю,—заклучил Александерсен, вставая,—что его немедленно выгонят из города Духа.

— Невозможно,—простонал хозяин.—Вы наверное... наверное ошибаетесь.

— Ошибки быть не может,—сказал Александерсен,—и если он не испарится добровольно, я буду вынужден разоблачить его на завтрашнем торжестве.

Александерсен хотел уйти, но ошеломленный хозяин удержал его. Шикая, поспешно отворил он потайную дверь в соседнюю комнату.—О, будьте любезны пройти в мой секретный кабинет. Там нам никто не мешает.

Александерсен вошел туда и, онемев, стал озираться вокруг. «Секретный кабинет» оказался роскошным салоном, зимним садом, просторным, высоким, светлым, с пальмами, изящными фонтанами, статуями веселых фавнов и пляшущих нимф. Стены были замаскированы картинами с весьма рискованными сюжетами, а книжные полки заставлены шедеврами самых мятежных, свободолюбивых умов.

Поспешно запер хозяин дверь на задвижку, повернулся к Александерсену и, весь сияя веселым лукавством, хлопнул Александерсена по плечу.—Ну, теперь поговорим на чистоту! Ха-ха-ха! Так и вы побывали в когтях у этой черной обезьяны? Да, чорт возьми, он людоед!

— Вам это известно!—воскликнул Александерсен, и жили на его лбу вздулись от гнева.

— Нам давно сообщили о проделках этого негодяя,—сказал хозяин, смеясь.

— И вы все-таки пригласили его сюда!

— Боже мой... пригласили!.. Раз люди рвутся послушать его,—сказал хозяин.—Он теперь в моде.

— Вы приняли его с таким почетом! Здесь! В самом городе Духа!

— Ох, милый вы человек! Ведь это для рекламы!—сказал хозяин.—Его слава была уже достаточно раздута, но в интересах акционерной компании требовалось еще по-рекламировать молодчика.

— Компании?—воскликнул Александерсен.—Что это за компания?

— О, нас несколько компанионов... Мы купили эту гору и финансируем здешние торжества... Боже мой, мы получаем предложения со всех концов света... Все эти пасторы и пророки, желающие выступить у нас, присылают нам свои условия, преис-куранты и т. п. Знать частную жизнь каждого из этих господ мы не можем, да и что нам за дело—честный он человек или мошенник? Не так ли? Лишь бы знал свое дело. Люди в наше время, право, не так наивны, чтобы ехать за тридевять земель смотреть честного человека. Люди приезжают сюда послушать модных ораторов.

— Но он—людоед! Вы слышали?—выкрикнул Александерсен.

— Да-да. Эти люди редко бывают аппетитны. Один грызет грифель, другой ногти, третий пожирает людей целиком,—но что из этого? Они получают свой гонорар, я беру от них расписку—и с богом!

Александерсен встал и, не говоря ни слова, возмущенный хотел уйти.

Хозяин вскочил:—Не делайте глупостей,—сказал он

мягко и сердечно.—Теперь вам нечего бояться его. Здесь он, ей богу, никого не съест. Помните: вы сами теперь человек с именем... и так отрадно увидеть хоть разок в почете и честного человека. Не портите же себе положения. Оставьте эту свинью в покое. Вам ведь не удастся отвести людей от этого шарлатана.

— Люди способны, однако, рассуждать!—воскликнул Александерсен.

— Способны ли?—спросил хозяин.

— Вы хотите сказать, что люди глупы?

— Боже избави; большинство—люди умные, слава богу. Исправно посещают наши блестящие торжества на горе Духа... Особенно, если мы угощаем такими аттракционами, как наш общий друг, черный Петр.

— Но он людоед, поймут же это люди!

Хозяин расхохотался до слез.—Петр—людоед! Господи, блохе легче перевернуть всю гору, чем вам заставить людей поверить в людоедство черного апостола!

Александерсен повернул к дверям. Руки его тряслись как в лихорадочном ознобе. Его собеседник и не думал дрожать.

— Погодите!—сказал он серьезно и внушительно.—Откровенно говоря, все это не так для нас неожиданно, как вы, может быть, думаете. Когда прошел слух о вашем прибытии на праздник, черный апостол сам обратился к нашей компании.

— Людоед?!

— Да... откровенно говоря. Он предостерегал нас против допущения вас сюда, на святую гору.

— Против меня?!

— Он утверждал, что вы в свое время останавливались у него в гостинице...

— К сожалению.

— И покинули его кров весьма странным образом... крайне загадочным образом... даже не простившись по настоящему.

Александерсен побледнел.

— А затем, проживая по соседству, в пещерах, снискивали себе пропитание таким способом, который он лично ставит в связь с исчезновением некоего, высокочтимого в известных кругах, слезоточивого проповедника, портного «Громобоя».

Александерсен онемел, трепеща, как пойманный воробей.

Хозяин улыбнулся:—Видите, следовательно, чего вы можете ждать с той стороны. Он нападает, защищая свою шкуру и кусок хлеба. И все это поймут. Вы же нападаете бескорыстно (как говорится), во имя идеи (как говорится)... *вашей* идеи. Этого никто не поймет. А потому все будут на стороне черного Петра... Голову даю на отсечение, если вы выйдете из этой истории целым и невредимым.

Александерсен был вне себя от негодования.

— Да,—продолжал хозяин, весело улыбаясь,—так почти всегда бывает, когда один норовит поддеть другого. Он открывает, что и сам... и т. д. Н-да. Благодаря этому, мир и держится еще, слава богу, не то, право, не простоял бы и пяти минут.

— А компания?—спросил Александерсен, когда к нему вернулся дар слова.

— Компания стоит твердо на своем,—сказал хозяин решительно.—Мы связаны с чернокожим контрактом и уже в силу одного этого обстоятельства обязаны—как джентльмены, оберегать его здесь. А кроме того, разумеется, и почтенную репутацию места.

— И в силу этого вы задушите истину на самой горе Духа!—с горечью произнес Александерсен.

— Истину!—передразнил хозяин.—«Гора Духа» вообще не институт истины, но частное предприятие, которое должно приносить доход. «Гора Духа»—праздничное место. Пилигримы стекаются сюда не за тем, чтобы жевать тут истины, но чтобы праздновать. Все это люди зрелые, опытные, которые уже сыты по горло истинами, разоблачениями и скандалами. Они предъявляют определенные требования к данному месту—хотят быть избавленными здесь от всяких разоблачений, душевных драм и истин. Да-да! Ядро полчищ пилигримов—люди взрослые, солидные... маменьки их давно померли, и они ищут, к кому бы прильнуть со своим хныканьем, перед кем бы постоять на коленках. И так как мы не можем вырыть для них из могил их маменек, мы приглашаем проповедников и пророков, которые бы до известной степени заменили им маменьку, и обставляем наших гостей так, что они в течение недели—другой чувствуют себя словно в материнском лоне,—разумеется, если они хорошо платят. К их услугам уютные, комфортабельные комнаты и бесшумные лестницы и коридоры, где эти старые сластены могут красться кошачьими шагами, и нежиться, и умильно тереться друг о друга, и сладко мурлыкать, и жалобно мяукать, и облизываться от любви и нежности. Они хотят,

чтобы их ласкали и гладили. И называют эту потребность духовною жаждою, набожностью. И не хотят, чорт меня побери, никаких мудрствований, или истин, или разоблачений, или скандалов. А раз они не хотят этого, их и надо от этого избавить. Если же вы, г. Александерсен, не в меру наивны и верите, что дирекция позволит не вложившему в это предприятие ни гроша частному лицу притти и испортить нам дело, нарушить нашу программу, то вы изволите жестоко, обидно, невероятно ошибаться. Понимаете?

И хозяин, оскалив свои белые зубы, хохотал так, что живот у него прыгал.

Александерсена бросало то в жар, то в холод. Во время гибели Ковчега в нем не дрогнул ни один нерв, он вполне владел собою. Теперь же все его мысли и понятия перепутались, голова кружилась... Он перевел свои широко раскрытые глаза с лица хозяина на мраморные статуи, затем на книжные сокровища, на эти пламенные мятежные произведения и сказал:

— И вы собираете в своем доме такие предметы!

— Да,—ответил хозяин и встал.

— Вы изо дня в день наслаждаетесь всей этой красотой и пламенем истины!

— Да,—подтвердил хозяин, неприятно задетый.

— И, по вашему вы вправе поступать так?

— Да, что бы вы ни думали.

— Лицемер!—сказал Александерсен.

Глаза хозяина налились кровью. Все его мясистое лицо побагровело... наконец, и он весь затрясся.

— Вы, стало быть, украдкой наслаждаетесь тем, что на глазах у всех попираете ногами,—продолжал Алексан-

дерсен с гневом и скорбью. Он уже опять овладел собою и привел в порядок смятенные мысли.

Но хозяин резко повернулся к нему спиною. Достал из отпертого шкапа толстую расходную книгу, с силою бросил ее на стол, открыл и с жаром принялся перелистывать страницы с бесконечными рядами цифр.

— Вот!—воскликнул он, хватив кулаком по цифрам. —Смотрите! Вот где свобода, истина и революция и все прочее, вот итоги их домогательств, их попрошайничества, заискиванья и расшаркиванья. Вот—глядите!.. А вот—мои расходы на скаковых лошадей и любовниц... с Мариорджией во главе!—грубо закончил он.

— С Мариорджией..?—пробормотал Александерсен.

— Да, с Мариорджией!—злобно передразнил хозяин. —Она дважды лежала в родах вот тут на постели!—захотел он и отдернул портьеры, закрывшие вход в роскошный покой, увешанный картинами: там была Мариорджия поющая, Мариорджия мечтающая, Мариорджия в пурпуре и Мариорджия обнаженная. Но на самом видном месте, на задней стене покоя—Александерсен так и подпрыгнул—висел шедевр статского советника, его знаменитая колоссальная картина, изображавшая Александерсена на пороге его дачуги в городе Будды.

— Александерсен!—мягко, улыбаясь, сказал хозяин:—Вы были счастливы, сидя перед лицом Будды за своей иглой, питаясь финиками... Помните, когда вы отвергли мои золотые?.. И я так в вас влюбился, что решил прославить вас на весь мир и заказал эту картину.

Александерсен глядел на него во все глаза,—хозяин как раз надел очки, и теперь Александерсен мгновенно

узнал «Золотые очки», ненавистного врага Леона и Мариорджии.

Хозяин как будто прочел его мысли, улыбнулся и покачал головой.

Александерсен покраснел и взглянул на картину.—Я думал, ее заказала императрица Лизия.

— Эта жадная кривляка?—тихо сказал хозяин.—О, боже!.. Искусство, истина, красота и прочее... я говорю это, не глумясь,—много ли осталось бы от них в этом загнившем мире, если бы там и сям не заводился среди деловых людей олух и своими грязными когтями не расчищал бы место для всего такого?

— Но Леон, Леон!..—горячо воскликнул Александерсен.

— Леон,—презрительно протянул хозяин и присвистнул. Затем перевернул несколько листов и указал мизинцем на одну страницу, еще на одну и еще, и еще... —Вот,—тихо сказал он,—вот во что обходились мне его мятежные гимны и памфлеты, его слова и факельные шествия... Он весь тут.

— А дворец его?..

— Мой.

— Его головокружительные гонорары?..

— Записаны здесь... Даже Мариорджию он брал на прокат... у меня... время от времени...

— На прокат?!

— А что же вы думаете, у него есть средства содержать такую алчную даму?

— Мариорджия... алчная?!

— Настоящий крокодил.

— А «Гость в персти» — знаменитое его стихотворение?
— Он написал его для меня, — сказал хозяин.
— По заказу? — с дрожью в голосе спросил Александерсен.

— Разумеется. Сумма записана тут.
— Стало быть, он писал с холодным и сухим расчетом...

— Нет, кровью сердца, со всем пылом страсти.
— Тогда он человек благородный! — воскликнул Александерсен.

— Как сказать? — ответил хозяин. — Он порядочный малый, который то и дело творит невероятные радости и подлости... и бичует собственную дрянность звучными стихами. А в периоды благоразумия его, разумеется, не отличишь от любого обывателя.

— Но они ведь люди свободного духа! — вскричал Александерсен.

— Кто это они? «Академия»?! Люди свободного духа?!
— Их жизнь развивается свободно...
— Все мы связаны своей профессией.
— Но они гении, таланты! — настаивал Александерсен.
— Таланты! Что такое талант? — издевался хозяин. — Экономический актив, который по какому-то идиотскому счастью свалился прямо в руки нескольким загребистым человечкам и сделал их поразмашистей других.

— Они, однако, устроили праздник в честь Леона Ахиллеса! — возразил Александерсен.

— На зло мне, — сказал хозяин.
— Но они ведь пригласили и меня!
— Чтобы нейтрализовать меня.

— И пошли за мной на следующее утро!
— В виде демонстрации против меня, — сказал хозяин. — Они меня ненавидят, потому что я-то знаю их! — И он хлопнул по книге.

— Но и вы посетили Леона!
— Да, чтобы уладить скверную историю с векселем. Иначе его бы притянули к суду.

— Притянули к суду!! Леона Ахиллеса!!.. Да кто же?

— Княгиня Катт.
— Быть не может. Она обожает его.
— А еще больше свои деньги.
— Княгиня?!
— Она!.. Интригантка-горничная! Завлекла князя, добилась титула и затем спланировала мужа в монастырь. Леон был изобретательнее. Сам выдумал себе имя.

— Он разве не благородного происхождения?
— Отец его гробовщик в каком-то городке.
Александерсен вдруг встрепенулся и с теплым чувством произнес: — Ну, кто бы ни был Леон, откуда бы ни вышел — он все-таки величайший гений в мире.

— Нет, — сухо промолвил хозяин. — Второй по величине.

— Второй? — изумился Александерсен. — А кто же первый?

— Вы никогда не слыхали о некоем Тетрархе?
— Что вы говорите? Объяснитесь! Этот бродяга, забывший свою жизнь самым жалким образом!.. Он такой талант? И никто этого не знает?

— Многие знают.

— Ради бога, скажите это Леону!—воскликнул Александерсен.

— Леон-то знает,—улыбнулся хозяин.

— Ну, тогда Леон ему поможет,—облегченно вздохнул Александерсен.

— Леон вовсе не так глуп,—сказал хозяин, захлопывая книгу.—Кто же станет помогать опасному сопернику!

— Вы ошибаетесь!—вскричал Александерсен, весь пылая.—Леон сделает это... Или статский советник. Он такой хороший человек, сердечный...

— О, да,—сказал хозяин,—пока никто не сует ложку в его миску.

— Господи!—наивно сказал Александерсен.—И это жизнь?!

— Н-да,—ответил хозяин,—если не выберешься наверх, то застрянешь, чорт возьми, внизу. А раз пристроился наверху, держись крепче, чтобы тебя оттуда не спихнули. Берегись каждый, чтобы тебя не развенчали!

— Это почти слова Тетрарха, как они его называют, тихо проговорил Александерсен.

— А! Вы его встречали?—с любопытством спросил хозяин.

— Он говорил о каких-то двух... которые постоянно сталкивали его вниз, едва ему удавалось подняться.

Хозяин кивнул.—Тетрарх прав. Их, действительно, двое.

— Вы их знаете?—воскликнул Александерсен.

— Как и вы.

— Кто же они? Скажите!.. Неужели статский советник?

Хозяин усмехнулся и кивнул.

— Быть не может! Быть не может! Такой хороший, сердечный...

Хозяин засмеялся.—Сердечный! Он? Настоящий дикий кабан, когда почует соперника.

— А другой..?—прошептал Александерсен.

Хозяин многозначительно улыбнулся.

— Неправда!—закричал Александерсен.—Леон не мог в этом участвовать! Хладнокровно душить богатые дарования!.. Но вы сами...

— Что я?

— Вы сами могли бы помочь ему.

— Кому?

— Тетрарху.

— Ни за что.

— Да почему же?

— У меня свои причины.

— Какие, какие?

— Ну, одним словом,—сказал хозяин и рассмеялся:—я прихожусь дядей Леону.

Александерсен, долговязый, неловкий, стоял, растерянно глядя в пространство. Углы рта его опустились печально и простодушно. Картины, фонтаны, статуи—все вокруг казалось ему пустым, жалким, бесцветным.

— А мы-то поставили их на пьедесталы, как героев!—с горечью проговорил он.

— Героев самое лучшее ставить на пьедесталы.

— Но если они такие маленькие людишки?
— На пьедестале вырастают.
— Но они все-таки остаются мелкими!..—настаивал Александерсен.

— Об этом они забывают, принимая поклонение.
— Так они и глупы вдобавок!—сказал Александерсен.
— Героям и полагается быть изрядно глупыми,—сказал хозяин.
— Полагается?
— Да, чем они глупее, тем сильнее.

На площади у подножия вызолоченной гигантской статуи Деодата шумела народная толпа; пестрые ландкнехты сменяли караул около «Высшей точки жизни».

— Вот, здесь,—сказал хозяин, убирая книгу в шкаф:—моя «высшая точка жизни», и самое лучшее не пускать сюда никого, кроме самого первосвященника.

— А теперь, я думаю, можно предоставить вам завтра полную свободу действий, Александерсен. И я, дорогой мой, только—гость в персти. Не то чорт слишком загостился бы здесь. И перестаньте негодовать на чернокожего. Поверьте мне: побеждать свое негодование—самая настоящая, глубочайшая и единственная мудрость жизни! Это также неоспоримо, как то, что все мы—гости в персти... Прощайте, Александерсен. Если я когда-нибудь смогу оказать вам услугу, буду несказанно рад, но вместе с тем лишусь своей единственной иллюзии.

Александерсен не понял—издевался над ним хозяин или нет, когда почтительно поцеловал руку портного и проводил его в свой частный кабинет с плюшевой мебелью

и благочестивыми картинами и журналами. Голова хозяина опять умильно клонилась на бок, голос упал до шюпота.

Александерсен нашел свою компанию на северной стороне горы, где возвышался на своем пьедестале над морем народным вызолоченный Деодат, блистающий молодостью гигант, и самонадеянно целился из лука в небесное светило.

«Деодат, стрелец из стрельцов»

гласила надпись на цоколе, а пониже было написано:

Он целил в солнце,
попал в луну.

Компания захохотала и стала наблюдать за пилигримами, которые благоговейно дефилировали мимо статуи целыми толпами. Никто из них не относился к этой надписи юмористически.

— Неужто он взаправду целился в солнце?—спросил один.

— Высоко метил!—сказал другой.

— И попал в луну!—прибавил третий.

— Высоко попал! заключил четвертый.

— Высоко метил, высоко и попал,—согласились все.

ВЕЧНОСТЬ

«Здесь показывают вечность» гласила надпись на засаженной двери подвала.—Надо зайти сюда, друзья!—крикнул Леон, и вся веселая компания последовала за ним, в том числе и Александерсен.

Скуку и отвращение чувствовал он в душе. Грязно-желтое солнце сверху, грязно-серая пыль снизу... а между ними Леон с Мариорджией, статский советник с княгиней и прочие, составляющие его свиту. Между тем, это ведь высшие представители человечества; к ним стремился и рвался он с трепетом душевным; теперь ему было тошно глядеть на них.

На подоконнике подвального окна было расставлено несколько крохотных лезгинских стульев и подсвечник с огарком. В углу подвального помещения стояла странной формы лестница, широкая внизу, суживающаяся и с более частыми ступеньками вверху.

К ним скромно вышел непривлекательный, горбатенький и одноглазый человек.

— Нам бы хотелось узреть вечность,—комически-деловым тоном объяснил статский советник.

Уродец взял свою странную лестницу, приставил ее к подоконнику и быстро полез по ней вверх, становясь—каким-то чудом—с каждой ступенькой все меньше и меньше. На подоконнике он стал уже с мизинец величиной и сразу сделался таким славеньким, забавным.

— Пожалуйте сюда все!—пискнул он тоненьким голоском, расставляя стулья.

— Чорт побери!—воскликнул статский советник и, нхтя, полез по лестнице.—Придется таки с'ежиться, чтобы познакомиться с вечностью!

— Ах, какой он стал милашка!—восторгалась им Мариорджия.—Настоящий воробышек!

Леон с Мариорджией резво запрыгали по ступенькам вверх и, увидав их на подоконнике, Александерсен с изумлением почувствовал вдруг прежнее сердечное расположение к ним,—такие они были крошки! Боже мой, неужто вся ошибка была в том, что он не догадывался раньше рассматривать их, как пару воробьев? Чего в самом деле нельзя было простить таким пигмейчикам, лишь бы они прыгали себе и были довольны!

Один за другим поднялись по лестнице и очутились на подоконнике все. В окно светило солнце, и на подоконнике лучи его грели уже значительно сильнее, горячее.

Человечек взял другую подобную же лестницу и, приставив ее к подсвечнику, взбежал до обгоревшего фитиля. Там он стал меньше мухи. Компания последовала за ним, и скоро вся «бессмертная» академия со смехом окружила черный фитиль.

Солнце так и палило вокруг массивного, как башня, фитиля; когда-же посетители заглянули через край огар-

ка, весь мир внизу показался им таким неуклюжим, бесформенным... темным и призрачным.

По черным ступенькам взобрались они на самый фитиль, и так диковинно уменьшились в своих размерах, что кончик фитиля стал для них черным плоским полем.

Жара и блеск были здесь прямо невыносимы, и мужчины снимали с себя пиджаки.

— Теперь мы, стало быть, на светильне,—сказал старик.

Посреди черного поля возвышался черный бугорок. В бугорке была черная дверца. Все они вошли в дверцу и по черным винтовым лестницам и галлереям стали подниматься все выше и выше, становясь вместе с тем все меньше и меньше. Наконец, они достигли бокового коридора, который заканчивался чем-то в роде фонарика.

Они вошли туда и очутились среди настоящих солнечных вихрей. Вокруг, в радужном сиянии, витали какие-то диковинные шары, усеянные чешуйчатыми существами. Из всех щелей и дыр высовывались насторожившиеся головки.

— Это пылинки,—сказал человечек,—и зародыши.

— Бог ты мой! Они лижут солнечный свет!—шепнула Мариорджия.

Снова стали они взбираться по винтовой лестнице все выше и выше. Вокруг них свистело и гудело.

— Слышите?—сказали они и приостановились.

— Это вечность,—сказал старик.

— Мы уже там?—прошептали они.

— Приближаемся к ней,—ответил он.

Опять стали взбираться. Какие-то головы, ворча и

шипя, прятались во мрак. Стены стали пористыми и плохо защищали от палящего, яркого света.

Диковинные волнисто-воздушные волокна обвивали черные шары. Горячий пар капал с них в пространство.

Воздух пронизывали голубые лучи света, прилипали к каплям, выгибались и выпрямлялись.

По узким шатким лестницам компания с трудом достигла новой галлерей: ступени, шары, волокна, стены—все имело мерцающие, радужные края. Посетители взглянули друг на друга. И у них были голубоватые, мерцающие очертания; и они едва узнавали один другого: безобразие и красота, недостатки и преимущества слились во едино... Какими-то темно-фиолетовыми тенями приближались они к всерасплавляющему световому океану вечности.

Они невольно хватались за головы, с трудом сохраняя ясность расплывавшихся мыслей.

— Внимание, господа!—сказал один из них, и все поняли, что это старик так странно, беззубо-шершаво шамкает:—Это высшая точка, до которой мы рискуем подниматься. Выше—стены, галлерей, и мы сами—все расплавится.

Они вышли на наружную галлерейку... Боже великий, свет вечный!..

Перед ними покоилась в золотистом певучем блаженстве световая бездна. словно вскрики перелетных птиц, рокот арф и трели зябликов неслись из огненной глубины; бесконечно далекий, как бы под сурдинку грохочущий трем, сливался в непрерывную кипучую песнь.

Онемев, стояли посетители, глядя через перила галлерей. Это было как бы само блаженство, прекраснее прекраснейших грез человеческих о блаженстве... как бы огненный райский сад, пронизанный звуками органа и одуряющими ароматами.

Кто-то из посетителей упал на колени.—Мы черви навзрыше в сравнении с этим!—послышался жалобный женский шопот.

Кто-то высокий—должно быть, Леон—с палкой в одной руке, со шляпой в другой, устремился, словно пьяный, к самому краю бездны, испуская нечленораздельные звуки... Схватился за голову, как бы с трудом осмысливая это зрелище. Его изощренный разум готов был испариться, и оставались только его грубые инстинкты да непосредственные симпатии. Ему хотелось прыгнуть в эту певучую чистоту, в эту ослепительную анемоновую грядку живой свежести, в эту бездонную улыбку, в этот ликующий ужас и ужасающее блаженство, в эту извечную лучезарную игру криков и слез, тепла, пляски и пения...

— Назад! Назад!—Старик схватил его за шиворот и остановил, как останавливают закинувшуюся лошадь.

Все отдельные краски сливались здесь в одно общее сияние, все отдельные языки—в один общий горячий звук—все было здесь единою упоенно-ликующей огненной паникой, существовавшей и не существовавшей.

Леон нашел слова:—Пан! Пан!—крикнул он огненным видениям, увлеченный, околдованный, отчаянный, боготворящий... всасываемый этой блаженной паникой огненной бездны.

Александрсен держался за зыбкие перила. Фиолето-

вые края вечности обрамляли и мертвое железо. Вечный червь перестал глотать сердце Александерсена, из глаз его тихо струились слезы. Тело трепетало от тепла и неги. Та паническая лихорадка, что уже не раз охватывала его в жизни, дышала ему здесь прямо в лицо своим огненным дыханьем словно из раскаленной печи, выпаривая из его души все горькие воспоминания и впечатления холодного, равнодушного дня.

Прошло пять минут.

— Теперь пора,—деловым тоном заявил проводник, и они начали спускаться длинной, темной дорогой, по лестницам и коридорам, пещерам и впадинам, и мало-помалу к каждому из них возвращалось ощущение собственного «я». Из них как будто медленно выкачивали тепло и блаженство, а их сознание и возбужденные мысли вновь уплотнялись.

Вот они спустились на фитиль, на самую свечу, на подсвечник, и, наконец, очутились на полу, молчаливые, дрожащие... поглядывая друг на друга с тупым изумлением.

Когда компания вернулась в гостиницу «Многие Обители», ее полутемные бесшумные коридоры кишели народом. Это был необыкновенно блестящий день на горе Духа. «Дух» пронесся над нею в виде смерча, и все были в паническом восторге, раскраснелись, оживились. 3000 человек обратились из католичества в протестантство, 4000 из протестантства в католичество, 480 адвентистов всенародно перешли в баптисты, 520 баптистов в пиетисты, 389 пиетистов в рационалисты и спириты. Лютеран-

ский епископ признал кальвинистские тезисы, а кальвинистский профессор высказал папистские симпатии; 37 пробстов с дипломами первой степени выпустили открытые письма, 1142 члена приходских советов установили, что дьявол существует, а 1143, что его нет. Человек в палатке, проповедывавший, что жить не стоит, выручил 1480 крон чистогоном, а человек, проповедывавший, что жить безусловно стоит, выручил 1847 крон, и, сосчитав выручку, оба отправились в ресторан гостиницы заказать себе пополам порцию бифштекса.

И все радовались, как дети, смеялись и кричали друг другу:—Завтра день из дней!

Но где бы ни показался Александерсен, толпа расступалась перед ним, и все глядели на него с почтением, перешептываясь между собой:—Это Александерсен!

ДЕНЬ ИЗ ДНЕЙ

Утром Александерсен проснулся от звуков священных труб. Настал День из дней.

В трепете праздничного ожидания волновался под его окнами народ; высоко над площадью сверкала статуя юношески-задного и юношески-прекрасного Деодата, пускавшего свою дерзкую стрелу в пламенеющее небо.

Густые толпы обступили священную скалу со ступенями, по которым поднялся на вершину первосвященник в белых одеждах и, стоя там, с развевающейся белоснежною бородою, с распростертыми старческими руками, как бы обнимал тайну мироздания и отчески призывал мир и благоволение на коленопреклоненный народ.

— Гуси! Гуси!—раздались крики.

Александерсен подбежал к открытому окну и услышал отдаленное гоготанье несметных стай гусей. Это были священные гуси; каждый год пригоняли их с сочных лугов западных плоскогорий в город Духа, чтобы заколоть на другой день после праздника Дня из дней, и этот второй день являлся кульминационным пунктом торжеств.

К гостинице подкатило несколько элегантных экипа-

жей, с чемоданами и всякими инструментами. Это прибыли врачи, специалисты по желудочно-кишечным болезням; для них день после «гусиного дня» в городе Духа был самым прибыльным днем в году.

Александрсен позавтракал и вышел.

Площадь была пуста.

Ни единой души.

Ни звука.

Нет, ветер донес до него хор сотен тысяч голосов.

Затем пение смолкло.

Там, около кафедры, теснилась несчетная толпа внимательных слушателей—все, кто только мог ходить или ползать. И над толпою склонялся, к толпе обращался с речью—да, ошибиться было нельзя—чернокожий людоед (Александрсен заскрежетал зубами), изливая елейные изречения в это море жадно внимающих ушей. И каждое ухо было дверцей в блаженный маленький мозг, где слова и застревали, благоговейно сливаясь с обликом оратора, с бесстыдною рекламою и грубо материальным, ребяческим блеском праздника.

В гостинице же шла громкая перебранка. В помещении дирекции ссорились. Тонкие, пронзительные голоса братски сливались с грубыми и хрипылыми в необузданной руготне. Боже мой! Точь в точь, как на Общем Собрании на родине Александрсена!

Это требовали прибавки к почасовой плате священные трубачи, угрожая иначе скандалом. Они оставили в передней свои священные трубы и заговорили своим соб-

ственным языком—языком поденщиков. Голоса дребезжали и гремели. Зубы скрежетали и лязгали: «Денег! Денег!» В этих криках было неподдельное чувство!

У Александрсена потемнело в глазах, к горлу подступила тошнота. Куда бежать ему? К кому прибегнуть? К Леону? Мариорджии? Статскому советнику? Княгине? Хозяину? Торбине?..

Не осталось никого, чье имя не вызывало бы у него гримасы.

На скалу! На священную высоту! Мысль эта сверкнула в его мозгу молнией. Площадь была пуста. Лестницу никто не охранял. Вверх по священным ступеням! На священную вершину! Стать выше этого праха, лжи и сумбура, уединиться там в тишине и святом покое!

Он перелез через решетку и цепи. Все было в его глазах только прахом, и сам он был лишь гостем среди праха, а потому имел право, присвоил себе право проникнуть в святилище, познать святейшую истину.

С внутреннею дрожью, стиснув зубы, поставил он ногу на первую ступень и, весь холодея от благоговения, стал быстро взбираться наверх, по ступеням, которых тысячелетия не попирала нога непосвященного... Выше... выше над ложью и убожеством, к вершинам, в одиночество и великую тишь.

В скале была вырублена каменная келья. Он заглянул туда. Вероятно, это была каморка трубачей. На сломанном стуле стояло пять бутылок из-под пива и чашка с грязною мыльною водою. По столу были разбросаны пивные кружки и колода карт. В углу валялись сапоги, прикрытые грязным полотенцем, на стене висела мантия

первосвященника с засаленным воротником, а на треснувшее зеркало было повешена белоснежная подвязная борода.

Благоговение скатилось с Александерсена каплями холодного пота. Он захлопнул дверь и яростно стал подниматься с лестницы на лестницу, с площадки на площадку, пока, наконец, весь красный и запыхавшийся не очутился на высшей точке скалы.

Наконец!.. О, какая царила здесь пустота и прозрачность, какая аристократическая тишина. Лазурная пустота, белая пустота, зеленая пустота—куда ни оглянись.

Он взглянул себе под ноги и увидел—на граните, в этом аристократическом уединенном месте—птичий помет и медную монетку.

Он невольно улыбнулся: следы пищеварения и нажвы—вот все, что нашел он на священнойшей, высшей точке жизни.

Вообще же пустота, благодатная пустота.

И вдруг эта холодная стихийная пустота навела на него необъяснимый панический ужас. Он почувствовал непреодолимый позыв назад, тяжелую свинцовую тоску по людям, по уюту живой жизни.

Быстро спускался он вниз, с площадки на площадку, пока не достиг каморки трубачей и до него не стал опять доноситься голос проповедника, звуки елейных речей людоеда. Нет, сойти вниз показалось ему невмоготу. И он опять устремился наверх, готовый задохнуться от тоскы, которую вызывало в нем это массовое фиглярство, шутовство и лицемерие, и гонимый тоскою по стихийной чистоте и беспределности.

Но, когда он снова стоял наверху, его снова подхватил страх одиночества, как вихрь подхватывает незастигнутый плащ, и погнал вниз. Вниз гнали его страх и тоска одиночества, вниз—к людям, к живым существам, к теплу жизни.

В болезненном смятении, жалкий и несчастный, очутился Александерсен в толпе, как раз, когда стада гусей тянулись в перевалку по улицам, переулкам и ступеням, катились крикливою снежной лавиной... Священные гуси!

Волны народного восторга захлестывали его. Звуки труб, крики ура, гоготанье гусей раздавались на перебой, и сквозь всю эту нестройную шумиху пролагали себе путь процессии с хоругвями и кадильницами; солнечные лучи, прорывая облака, вызывали молнии из мускулистой напряженной руки Деодата и смело целящихся пальцев.

Спокойно и уютно было Александерсену, спокойно и уютно забытому, затерянному в толпе; он родился человеком толпы и с нею делил судьбу в жизни и в смерти. Он слышал биение сердец своих соседей, сердец, подобных его сердцу, пульсов, подобных его пульсу. И вдруг, утратил свою сознательную личность, свое «я», свое критическое отношение к миру, ощущение своего обособленного существования. Зрачки его расширились. Чувства его разрослись до сверхестественных размеров и на минуту все—молитвы и дым кадильный, гуси и пилигримы, золото и пурпур слились воедино. С дерева на дерево порхала крылатая шумная жизнь; вой и трубные звуки, ложь и истина, краски и звуки потеряли свои очертания и слились в один тон, один свет, в певучее море, подоб-

ное огненному океану вечности. Впервые в жизни ощутил Александерсен вокруг себя самого вечность и вечное блаженство. Он уже не был больше зрителем, но участником этой горячечной паники; из его горла вырывались те же ликующие клики,—сам Пан, трубный звук вечности проносился над прахом.

И ложь перестала быть ложью, фиглярство перестало быть фиглярством. Все было настоящим, вечным, истинным, самою истиною, благозвучием, теплом, жизнью и криком... подхватывающею, возносящею, ягучею лихорадкой, алчущей и жаждущей жизни... жизни и жизни.

И никаких воспоминаний, никаких дум, никаких размышлений, никаких угрызений.

Без друзей и без врагов, и не чувствуя надобности ни в друзьях, ни во врагах, стоял он, затаив дыхание, бессознательно отдаваясь этому вечному мгновению. Не было на земле никакого особого святого места,—все было свято. Он не различал в толпе ни рук, ни ртов, но любил ее целиком.

Сиянье, блеск, жар такой силы, что свет стал тьмою. И все померкло в нем и вокруг него, он скользнул, провалился в этот мрак.

Александерсен очнулся под лапками гусей, которые бесконечными крикливыми стаями топтали его, пока он лежал без чувств, оглушенный, ослепленный вечным морем света. Гуси наступали ему на рот, на нос, на веки своими холодными перепончатыми лапками.

Он только что плавал в вечном море света, любил и обнимал на мгновение весь мир, забыл себя самого, слы-

шал ление вечности над прахом, музыку сфер... а теперь лежал в канаве, попираемый в течение нескольких часов гусями.

Тут он понял, что нельзя приобщиться к вечной истине, нельзя даже приблизиться к ней тому, кто еще хочет жить и бороться за себя, сам является действующим лицом и отстаивает свое место в мире.

А между тем, что за блаженный покой хоть на миг отрешиться от себя самого, от своей ненависти и своих влечений, на миг воспарить над своим «я», альтруистично раствориться в вечно витающем целом!

Священные гуси прошли. Последний священный гусь шлепнул ему в лицо свой священный помет, направляясь на бойню. И, наконец, все гуси скрылись.

Александерсен дотащился до гостиницы, и его уложили в постель.

В лихорадочных грезах видел он розовый куст—живой, трепещущий, пылающий, спешащий жить... Розы сыпались с него дождем, прямо в пыль. Как быстро отцветали они, каждая! Как мимолетна была их жизнь. Но как прекрасно и благоуханно это краткое цветение. Розы так и сыпались перед его глазами, розы, розы без конца, в ушах раздавался шелест трепещущих, опадающих, вянущих, обращающихся в прах—розовых лепестков.

Александерсен понимал эти вянущие, поникающие головками цветы. И он не хотел больше жить и бороться. Пусть негр оставит себе украденный ковер и краденые лавры. Пусть люди остаются при своих иллюзиях, а гора сохранит свое имя «горы Духа»,—у Александерсена не

хватало силы или ненависти для борьбы. Он чувствовал, что у него нет ни жизненного упорства Леопа Ахиллеса, ни сил индивидуального борца. Он был рядовым человеком из толпы, хотел исчезнуть в море народном, быть заодно со всеми, хотел любить всех и самоотреченно, покорно увянуть... умереть, любя в минуту своего падения всех и все.

К вечеру лихорадка прошла. Александерсен встал и сообщил своей компании, что на следующее утро отправится дальше, в город Смерти.

Поднялся страшный крик, настоящее возмущение.

Что ему понадобилось там? С ума он что ли сошел?

Остальные как раз собирались вернуться назад к жизни, как можно скорее.

Но Александерсен побывал на высшей точке жизни, а с него было более, чем довольно... Впрочем, пусть себе остальные возвращаются к жизни, если им угодно. Он двинется завтра дальше своим путем. К смерти.

Длительное совещание. Марпурджий и Торбина вернулись с проповеди негра глубоко потрясенные, рука об руку, и не могли думать ни о чем, кроме негра, обращения на путь истины и бренности мирской жизни. Они хотели сопровождать Александерсена в город Смерти.

В результате, вся компания решила сопутствовать ему, и на следующее утро все пешком двинулись под гору—в город Смерти.

НА ПУТИ К ГОРОДУ СМЕРТИ

Александерсен шел впереди всех.

Отлого—все под гору и под гору—вела дорога в долину смерти. Густой, осенний туман заволок окрестности.

Мало-по-малу замирали шумы и дисгармонии жизни. Последний тоненький писк послали с горы Духа резиновые надувные пищалки.

Неслышно веяли из моря тумана фигуры незнанных дорожных товарищей. Руки их были похожи на длинные, морщинистые куриные лапы—запачканные в навозе жизни. Кожа шедушилась и слезала. В свалившихся бородах и старых крючковатых носках застряли крошки и слизь жизни. Мигающие глаза смотрели ясно и спокойно, но обменивались и ядовитыми взглядами.

Никто больше не интересовался прошлым. Жизнь и все житейское осталось позади; с этим было покончено решительно и бесповоротно. Ничего нельзя было вернуть или переделать.

Радость стала излишнею. Скорбь излишнею. Стыд излишним. Разговоры излишними.

Да никто больше не интересовался и будущим. Оно

было достаточно известно. Равнодушно разбрасывали они по дороге свои паспорта, аттестаты, удостоверения и рекомендации, как бросают свои дневники с отметками исключенные школьники.

Кто он, вынырнувший из тумана? Кто она..? Никто не спрашивал. Тут можно было встретить всех, как благороднейших из людей, так и наихудших. Но никому тут не было дела до имени другого, до того, чем он был, да не было дела и до собственного имени и до того, чем был или чем стал сам. Никто больше не заботился о том, чтобы иметь собственное мнение о чем бы то ни было. Поэтому, все так удивительно сравнились.

Две матери шли вместе, обе одинаково слабые, измученные, готовые свалиться с ног, как сонные дети, когда им пора в постель.—Увы!..

— У нас восьмеро там,—сказала одна.

— Близких умерших, да,—отозвалась другая.

Глаза их были красны и сухи.

На дереве висел оборванец.

— Это Могенс,—сказала кривая женщина.—Я узнаю его по деревянным башмакам.

И они поговорили о башмаках... беззвучно... Рты у них не закрывались с детства, когда они научились лепетать.

Мариорджия шла об руку с Торбиной. Называла ее все время милочкой, находила ее такой чистенькой и старалась подражать ее чопорности, что являлось для нее самой суррогатом чистоты.

А Торбина держала себя матерински-назидательно, как наставница.

Они беседовали о чернокожем. Мариорджия всю ночь напролет читала священное писание, которое приобрела себе в роскошном издании с золотым обрезом, с застежками из слоновой кости и в кожаном футляре с ручками.

— Будем сестрами,—повторяла Мариорджия, с испугом поглядывая на неприятных спутников с куриными когтями.

Княгиня шла с Леоном, желтая, саркастически настроенная. И стоило Мариорджии встретить их насмешливые взгляды, как она забывала свой страх перед вонючими стариками, упрямо выставляла вперед свой подбородок и кожаный футляр и теснее прижималась к своей начитанной в священном писании спутнице, снабжавшей ее обиходными душеспасительными рецептами.

Когда они спустились с холмов, их встретили новые звуки, долетавшие из далеких еще грачиных и вороньих рощ, и в первый раз это избранное общество услышало собственными ушами густой, насыщенный металлом звон с колокольни собора Смерти, выступавшего туманной громадой из-за осенне-ярких рощ. Эти странно-новые для них мерные удары колокола, плывшие им навстречу, как будто проникали в них до мозга костей и разливали жуть по всему телу.

— Фу, ты чорт!—воскликнул статский советник, позеленев от гнева и оцупывая свои почки.—Это совсем не весело. Ни шагу дальше. Слышите? Мы вернемся.

— Полезешь обратно в гору, старина?—колко спросил Леон.

— Да куда же к дьяволу мы идем?—хрюкал толстяк.
— Что за миссия ждет нас в этих широтах!

— Может быть и ждет!—поучительно произнесла Мариорджия.

Статский советник вытаращился на нее, разинув рот, потом вопросительно поглядел на Леона, который шел сам по себе, затем на других, на рои Смерти и, наконец, смерил взглядом холмы, оставленные позади... стиснул зубы и, трясаясь от злости, покорился своей участи.

Но вскоре затрусил рядом с княгиней и шепнул ей во всеуслышание:—Она опять святость на себя напустила?

Княгиня с комическим испугом шикнула на него, и все продолжали путь в гнетущем молчании.

У входа в рои их встретило новое оживленное зрелище, которое снова подняло их дух. Пилигримы густой толпой, как на ярмарке, проходили под красно-желтыми кронами деревьев, между палатками, ларьками и торговцами, которые шопотом предлагали покупателям гробы, венки, кружевные саваны, цветы и надгробные памятники. Были тут и похоронные бюро, где пилигримы беззвучно осведомлялись о ценах, о свечах и бархатных покровках или меланхолично пробегали глазами написанные на машинке надгробные проповеди... Деньги звякали и шуринали, пишущие машинки щелкали, молодые, только что сдавшие экзамены священники и причетники выглядывали из-за портьер приемных комнат, а в окна и двери врывалось оглушительное карканье ворон и грачей.

До самого моста, перекинутого через реку Смерти, слышалось это шумуканье торговцев и покупателей,—

только все более и более пониженное и все более и более ожесточенное и боязливое,—продолжались препирательства взбешенных наследников, шел тихий грабеж крещеных и некрещеных—вылоть до последнего вершка савана, на который можно было обмерить. У самого моста, у этого высокого, злоеющего настила из досок, повертывали обратно даже наследники, даже торгаши сдавались.

У перил моста стояли Мельба и Тюрко, смятенные, испуганные, как зайцы, глядя на проходящих мимо них степенно и молчаливо пилигримов. Шли они, кто с металлическим венком, кто с надгробной плитой, кто с детским гробиком, шли, затаив дыхание, с благоговением готовясь, наконец, ступить на этот мост и—отправиться туда, где конец всему и откуда нет возврата.

Царственно-молчаливые и важные шагали эти смертники в белых саванах мимо двух элегантных великих людей—дипломата и генерала, которые растерянно с ежиклись, достигнув этого гигантского моста, куда они так хладнокровно посылали миллионы людей в своей азартной игре. Ставкой в игре были власть и слава земная!

Статский советник подошел, сторбясь и шепча, как старый содержатель публичного дома. Мариорджия крепко держалась за руку Торбины. Лицо ее застыло, как мраморное. Княгиня зибко ежикалась, а Леон зорко следил за портным.

Вот он вышел из толпы. Спокойно ступил на мост. Леон, насвистывая, пошел за ним. Потянувшись в хвосте и остальные, робкие, смущенные, прижимаясь друг к другу, как туристы, забравшиеся в опасные и запретные

места. Мариорджия выпустила руку Торбины, забыла все ее добрые душеспасительные рецепты и кралась по мосту с жутким любопытством.

Мост остался позади. Перед ними тянулась дорога, обнесенная глухими стенами, и заворачивала в улицы, огибая мощный, изъеденный ветрами собор.

Все стихли. Священный страх сковал уста маленькой компании, вообще привыкшей к громким словам. Даже Леон стал насвистывать потише.

Пройдя под каменным портиком, они вступили вслед за Александерсеном в пределы обширного кладбища, которое песчаным и каменистым полем расстилалось у подножия колокольни, напоминая скульптурную мастерскую чудовищной величины.

Некогда здесь цвели розы и сирень, образуя над лицами мертвых чудесный сад забвенья и покоя. Теперь розы погибли, птицы пропали. Дорожки были вымощены плитами, могилы придавлены плитами; кресты, скрижали, монументы и обелиски взапуски хвастались золотыми надписями, именами и титулами. Это было бы просто смешно, как квакающий дурацкий хор жалких скелетов, если бы не вызывало и жуткого чувства,—от этого беспорядочного нагромождения памятников веяло пустыней забвенья, тщетою суетного тщеславия праха.

Грубая борьба живых за власть и за лакомые куски как будто перешла здесь в последнюю дикую, грубую схватку теней за посмертную память, в немую, но яростную панику придушенных, исковерканных глупых имен, которые кивали и взывали в смертельном страхе: «Не забудьте же меня! И меня! Обратите внимание

на меня!.. Нет, нет, взгляните лучше сюда!..» В свою очередь, бронзовые и мраморные ангелы, кривляясь, протягивали руки с одной и той же мольбой: «Не забудьте же его!» Или сидели, проливая лицемерные слезы на купленных каменных глыбах и притворялись, что сердце у них готово разорваться с горя именно по этом усопшем.

Бум-бум-бу-ум-м-м!

Над всем этим базаром и борьбой чванства загудели древние исполинские колокола с высокой колокольни собора Смерти. От их звона мороз подирал по коже, и звенели медные шарики на могильных оградах!

И высоко над кладбищем промаршировали перед часовым циферблатом двенадцать апостолов; открылась дверца, и в ней показались пресвятая троица и дева Мария с младенцем. Затем все скрылось, люки захлопнулись, и толпы пилигримов или туристов, собравшихся у подножия колокольни, чтобы посмотреть старинные часы, когда они бьют, рассеялись по городу.

Компания обнажила головы. Мариорджия опустилась на колени, подавленная серьезностью и величием места. Княгиня зябко ежилась, статский советник плакал. Весь пестрый мир жизни казался им в эту минуту далеким провинциальным захолустьем, в котором целых тридцать лет болтливое и пустозвонное эхо разносило флибустьерские выпады Леона Ахиллеса и плебейские взрывы смеха статского советника. Так величаво просто и торжественно было вечное шествие апостолов над тщеславной суетой кладбищенских памятников.

Один Леон стоял, выпрямясь, вздернув орлиный нос и смело глядя на колокольню.—Часы великого мастера—

Гонголы!.. Колокола Петручия!—воскликнул он с восторгом.—Вон там лежит людской хлам,—продолжал он, показывая на могилы,—а творение гения презирает время и самую смерть!

Княгиня подбежала к Леону и со слезами схватила его руку.—Леон!—воскликнула она, указывая на колокольню,—вот так же будут жить и звучать твои песни, когда от нас останутся лишь имена на могильных плитах!

Мариорджия подняла свою гордую головку... встала с колен... вскрикнула и... бросилась на шею тому, кто и под гудение колоколов смерти стоял прямой и гордый, как настоящий король живых и мертвых.

— Мариорджия!—воскликнул в свою очередь он.—Племена и народы прейдут, а мои песни останутся, возвеющая сметаемым как опавшая листва поколениям людским одно имя... одно бессмертное имя: Мариорджия!

— Твое и мое имя!—прошептала она смиренно-преданно подставляя свои закрытые глаза его поцелуям. Княгиня поспешила снять группу своим великолепным аппаратом, и получилась та знаменитая моментальная фотография Леона и Мариорджии, которая впоследствии с разрешения Леона была воспроизведена в дневниках княгини (т. IV, стр. 213). Лицо Мариорджии выражает глубочайшую серьезность и умиленную преданность. Смуглое бородатое лицо Леона производит неизгладимое впечатление выражением упрямого, надменного вызова, смягченного любовной нежностью. Орлиный королевский нос, черные пылающие глаза, уже окруженные сетью морщинок. Ниспадающая с шапочки кисть прикрывает недостаток уха.

В ГОРОДЕ СМЕРТИ

Тихие... изжелта-серые тянулись улицы, три узкие, глухие улицы, составлявшие город Смерти у подножия собора. Кроме тихих серых смертников да благочестивых туристов более пестрого состава, никто этого города не посещал.

Примирение Леона и Мариорджии оживило и развеселило компанию. Угнетенное настроение разом сменилось громогласной, почти вызывающей веселостью, которая выпугивала эхо из молчаливых серых улиц с поросшими мохом мостовыми и заставляла гусей и кур церковнослужителей спасаться в более надежные закоулки.

Возле собора приютилась гостиница для туристов: «Очаг живых». К радостному изумлению компании, при гостинице оказался и вполне земной ресторан с человеческой обстановкой, то-есть с плюшевыми диванами, мебелью под орех, искусственными пальмами и люстрами, усеянными мертвыми мухами.

Компания расположилась в столовой, группируясь около Леона с Мариорджией, как около лучезарного центра. Мимо окон изредка проходили по улице шили-

гримы, смертники с гробами и крестами, в пеленах и саванах. Но компания не обращала на них внимания. Это были плебеи, люди будней и забвения, безымянные простые смертные.

С такими компании нечего было делать. В ее разговорах играл хмель побед, искрился блеск бессмертных имен. Гордым движением руки каждый из них начертил свое мировое имя на оконном стекле бриллиантом Мариорджии.

Один Александерсен держался в стороне. Он прислушивался к их разговорам, но как-то странно, словно изнутри. Ему чудилось, что мимо него с грохотом катятся непрерывной вереницей сотни тысяч телег. Этот грохот рождала мысль о неумолимой реке забвения и смерти. Она протекала в этом самом городе, всего в нескольких шагах отсюда; до этого ужаса для всего живого было рукой подать, а они—сидят себе в облаках табачного дыма, зубоскалят и болтают взапуски о красках, подмостках, издателях...

— Пусть и портной напишет!—воскликнул Леон.— Эй! Куда же ушел портной?

Александерсен, взяв шляпу, ушел и не возвращался.

— Он ушел?—равнодушно спросила Мариорджия, сидя на коленях у Леона и лакомясь виноградом.—Экая беда!—прибавила она невольно, странно-презрительным тоном, который на одну минуту озадачил всех. Это прозвучало ведь осуждением. Но все так же невольно почувствовали, что Мариорджия права. Вся эта возня с портным становилась нелепой, и пора было положить ей конец.

Вдруг княгиня отскочила от окна.

— Тетрарх!—быстро шепнула она.

Разговоры оборвались, и все вытянули шеи по направлению к окнам, держась в темноватой глубине залы. Верно! На освещенной солнцем улице показался, тихо, смиренно беседуя с несколькими смертниками, Тетрарх; за ним шли его двое умиленных детей.

— Кай и Гемма!—передразнила Мариорджия шопотом.

Он, видимо, страшно опустился; смотрел таким болезненным, изможденным.

— Сам на себя пусть пеняет!—сказал статский советник, и две злые молнии вылетели из его налившихся кровью кабанных глазок.

Леон вытянул шею. На гордое лицо его легла тень.

— Что ему нужно здесь?—жестко спросила Мариорджия.

Никто не ответил.

Александерсен посетил знаменитый городской архив. В полутьме, под сводами, помещался настоящий лабиринт книжных шкафов. Тут были собраны всевозможные книги и хроники, письма и протоколы, занумерованные и занесенные в каталог бледными маленькими архивариусами в войлочных туфлях.

Неслышно летала вокруг шкафов и книг мошь. Свет скупо проникал под тысячетлетние своды через оббитые темным плющем окна в глубоких нишах. Между ветками плюща протянулась паутина. В паутине покачивались потерпевшие крушение мухи-поденки.

Александрсен назвал себя, и его подвели к поюштру, на котором лежала знаменитая «Книга бессмертия» с нетленными именами из всех эпох.

Александрсен заглянул в книгу. Зрелище было удивительное. Неизгладимое!

С трепетом стал он перелистывать книгу, переворачивать страницу за страницей—то же зрелище, та же бесконечная, неисчерпаемая масса имен. Каждая страница представляла картинку—осенне-желтую сень ветвей с вянущими листьями. И каждый листок носил имя *бессмертного* смертного, презившего о вечности. Теперь он сидел тут, желтым, увядшим листком среди тысяч других листьев, таких же пожелтевших и увядших в великом лесу памяти. Листья образовывали кроны, а за этими кронами виднелись новые кроны. Кроны составляли леса, а за этими лесами шли новые леса—тихие, желтые, мертвые леса—имен, имен, которых нельзя было забывать.

Тишина и покой... великий, печальный мир царствовали здесь.

Из одной книги на нижней полке торчало что-то остренькое. Оно шевелилось. Это был кончик мышиного хвоста.

Вялая усмешка пробежала по лицу Александрсена.

На улице ребенок уронил ведро со сливками. Отчаянный детский плач вторгнулся так резко и жизненно под эти заплесневевшие, пропыленные, вечные своды.

Бум! Бум-м-м-м! Раздался тяжкий бой часов, отсчитывавших с колокольни собора время живым и мертвым.

Александрсен тихо простился и вернулся в гости-

пицу. Там его друзья, живые бессмертные, румяные, разгоряченные, с салфетками под подбородками, сидели за дымящимися блюдами. Они смеялись, кричали, жестикулировали ножами и вилками. Зубы у них так и сверкали. Глаза искрились смехом и задором.

— За ваше здоровье, дети!—пыхтел статский советник.—Клянусь вам, что аппетит—половина гения.

— Если это верно,—воскликнул Леон, размякший от вина,—то это гениально сказано, ибо тогда это сказано гением. Ведь у статского советника зубы акулы, а прямая кишка—что сапожное голенище, и если ты, бессмертный, когда-нибудь умрешь, то умрешь от вящего аппетита, и, если аппетит—гений, а гений—бессмертие, то ты, значит, умрешь бессмертной смертью!

Они чокались и шумели. А тяжкий звон колокола смерти отмечал каждую истекающую четверть часа.

По мостовой брели больные и умирающие. Компания громогласно беседовала о гонорах, импрессарио, соперниках и ангажементах.

Александрсена они приветствовали взрывом смеха, чканьем и заздравиными кликами. Пригласили и его закусить, а насытись, закурили сигары и пошли за ним во имя божие посетить соборную колокольню, откуда открывался широкий вид на всю панораму жизни.

НА КОЛОКОЛЬНЕ

По темной винтовой лестнице поднялись они наверх. В этом крошечном мраке глухое тиканье маятника старинных часов звучало биением гигантского пульса.

Из бокового коридора заструился на каменные ступени свет. Там, под сводами оказался чулан, где хранился всякий церковный хлам, отбитые ангельские крылья, безголовые Иисусы, хромые или безногие апостолы. В углу стояло ведро со шваброй. За ним валялась облезлая троица и пара деревянных, башмаков без подошв. Троицу изображало большое зоркое око, заключенное в треугольник, от которого расходились источенные червями, деревянные вызолоченные лучи. Их окутывала толстая, как серый коленкор, паутина.

Из соседнего помещения тянуло кислым запахом старрой, давно нечищенной трубки, и слышалось шарканье ножа, резавшего дерево.

Марнордкия прокралась туда на цыпочках и шаловливо поманила за собой компанию.

В полуоборот спиной к двери стоял вооруженный очками, глуховатый старый резчик, с выпяченной сдю-

нявой нижней губой, и резал нос новому Иисусу, Иисус был выдержан в обычном женоподобном стиле, с заплаканным личиком и жалостно склоненной на бок головой. Ростом он был с самого резчика.

— Э... будешь ты стоять у меня?—прошипел тот по адресу Иисуса, чуть не выскользнувшего у него из рук, сердито и грубо стукнул его об пол и продолжал резать дальше.

Компания расхохоталась. Старик обернулся, подозрительный, близорукий.

— Да ведь это старик Альфредсен!—воскликнул статский советник.—Леон! Леон!.. Это отец Леона,—шопотом пояснил он удивленной компании.

— Он осмеливается показаться здесь?—закричал старик и стал отыскивать глазами палку.

— Ну, уймись же, Альфредсен,—сказал статский советник.—Ваш сын стал мировой знаменитостью.

— Этот щенок!—кричал старик,—этот шалопай, дерзкий мальчишка, который только и делал, что бил баклуни, гонялся за девочками да насмехался над честным ремеслом отца.

— Здравствуй, старина!—крикнул Леон в дверь, но старик, весь трясясь, схватил швабру. Иисус полетел, ведро опрокинулось, и троица искупалась в мыльной воде.

Леон убежал, как напроказивший школьник, на винтовую лестницу, а компания преградила дорогу чертахавшемуся старику, пытаясь успокоить его.

— Сестру свою ограбил,—заикался старик,—и тетку и двух братьев. Первую жену его пришлось мне взять на

хлеба вместе с двумя его испорченными щенками... Вторая жена ходит с шарманкой, а его остальное отродье...

— Ну, теперь увидите, у него больше не будет детей,— сказала княгиня.

— Нет, потому что он, верно, не может прижить их... с теми барыньками, с которыми теперь спит. Но портить мне дело это он может!—прибавил старик, подымая Иисуса и сердито устанавливая его, как следует.

— Успокойтесь же, Альфредсен,—вмешался Сорман:—все эти гости, которых вы здесь видите, люди знаменитые и друзья Леона...

— Знаменитые... пф!—фукнул старик,—знаменитые... хе! Грабить деньги, небось умеют и швыряться ими, как он...

— Фуи, фуи,—сказал Сорман,—не унижайте же собственную свою плоть и кровь.

— Мою кровь и плоть!—закричал старик.—Вы хотите сказать: его матери, этой шальной бабенки! Сама сбегала и навязала щенка мне!

— Зачем же вы не держались от нее подальше?—сказал статский советник.

— Что такое?—закричал старик, меряя его взглядом.—Видели бы вы, как она сбегала с баронской лестницы, приплясывая да насвистывая, с длинной камышевой в руках... И как на грех тут стоял этот проклятый черный кожаный диван, набитый конским волосом... Верно, потому он и уродился таким длинным и черноволосым!

— Этот диван определил судьбу миллионов людей в настоящем и в будущем,—сказал Сорман, бледный от

волнения, и старательно занес что-то в свою записную книжку.

— Да, спасибо,—ответил старик,—дорого мне обошелся этот диван!...

Тут попробовала урезонить его княгиня, но дело кончилось тем, что он напал на нее и на Мариорджию, обозвал их беспутными девками и продувными бабами, чем и обратил в бегство всю компанию.

— Какой ужасный человек,—сказала, дрожа от гнева, княгиня, когда они снова подымались по винтовой лестнице.

— Вы не узнаете неукротимого духа Леона? Он недалеко ушел от своего отца!—сказал Сорман.

— Да, это в самом деле прелюбопытно,—согласилась княгиня и, сразу же влюбившись в старика, готова была вернуться назад, чтобы снять с него фотографию.

Вот перед ними и часы с их мощными колоколами. Истек новый, чреватый последствиями час вечности. В отверстия люков и глазки ставней компания видела туристов и пилигримов, благоговеино собравшихся у подножия колокольной в ожидании выхода апостолов.

Сквозь большие щели компания заглянула и в часовую камеру и в камеру апостолов. Они стояли там в рост человеческий, раскрашенные красной и синей краской, готовые двинуться по своим железным рельсам. Вдруг, в старом механизме что-то дернулось и зашипело. Дрожа поднял колокольный молоток свою избитую голову и ударил. Колокол бухнул так, что компания подпрыгнула,

а статский советник пожелтел, побледнел и начал потирать свои почки.

Дрогнул и ряд апостолов. Люк открылся, и вся дюжина выкатилась—косоглазая, неуклюжая, шатающаяся; поднялся железный стержень, распахнулся ставень, и грузно выехала, сотрясая пол, дева Мария, ростом с драгуна—грубо размалеванная, пучеглазая при безжалостном дневном свете.

— Адье, мадам!— крикнул ей вслед Леон.

— Чудесно!—умилялись внизу коленопреклоненные туристы.

Железные стержни повернулись, блоки завизжали, цепи закрипели, и святая компания с треском и громом разместилась попрежнему, глядя друг другу в затылки, отдыхать под совиными гнездами и повисшими летучими мышами до истечения следующего часа.

Часы—по рассказу звонаря—были собственно куплены за три тысячи специй для «города Духа», девятьсот лет тому назад, тогдашнюю владелицу горы, благочестивою незамужнею герцогиней Санта Пиа. У нее была тяжба с одним из ее старых женихов, разорившимся маркграфом, который в конце концов ночью спалил ее собор. Герцогиня, отслужив молебен господу у развалин алтаря, поймала своего прежнего возлюбленного в оленьи тенета и живьем бросила его вывариваться в салотопный котел. Но побочный сын маркграфа в свою очередь нагрязнул на нее в ночь на сочельник, велел раздеть герцогиню, засадить в утыканную гвоздями бочку и скатить с горы Духа. Тем временем часы прибыли в город Смерти на 14 подводах, запряженных волами. Здешний безухий владетель-

ный князь, некогда отбывавший каторгу на галерах, только что вернувшийся из крестового похода и велевший провозгласить себя кардиналом и святым, задержал часы, т. е. попросту украл благочестивое творение искусства, велел поднять его на колокольню, где оно пребывает и поныне на радость и в назидание преходящим поколениям земным.

—Аминь!—воскликнул Леон. Высокий и статный стоял он в своем белом летнем костюме и в красной шелковой шапочке на загорелой, как у турка, голове, со смехом обнимая одною рукою Мариорджию, другою княгиню.

— Хорош мир, в котором вам приходится вращаться, мои девочки, но согласимся, что мы-то до сих пор с успехом пробивали себе в нем дорогу!

«Пробивали себе дорогу!»... Александерсен, выйдя из мрака колокольни, приковался взглядом к этой интересной группе: в центре Леон, обнимающий двух дам, а вокруг него пестрая, яркая, в красных, синих, белых и зеленых костюмах, избранная маленькая компания. Теперь Александерсен узнал, кто они такие: искатели счастья! Как ни были они все различны, как ни своеобразны, всех их объединяло одно—все они стремились пробить себе дорогу, выбиться наверх, подняться выше других и, встретясь на высшей ступени счастья, с ненавистью взирали на все, что могло бы нарушить их счастье... Искатели счастья!

— Место «гостю в персти»!—крикнул Леон:—он инспектирует свои залежки персти!

Александерсен подошел к люку и выглянул: зеленое и желтое вперемежку, горы и доли вперемежку, селения

и дороги, сбитые в кучу, длинные реки и широкие озера, которые на солнце, которые под дождем—одна картина всюду и впереди, и позади, и вокруг, куда ни оглянись... Страна случайностей.

Испуганный, с закружившейся головой, отступил он от люка и увидел себя, бедного провинциального портного, среди пестрого, яркого цветника авантюристов, искателей счастья—которых едва знал—на верху старой колокольни, хранившей кровавые воспоминания.

Знал ли он Леона? Знал ли Мариорджию? Знал ли Торбину? Никого он не знал. Едва ли знал и себя самого.

Он опять выглянул наружу, опять увидел то же самое и уже не мог отделаться от сознания, что весь этот мир—страна случайностей, где добродетель бывает наказана, а порок торжествует, и где добродетель, преуспевая, становится зачастую порочной, где глупость подстрекает глупцов поступать умно, а мудрость толкает мудрых на глупые поступки, где преступления обращаются в благодеяния для миллионов, а благородные подвиги приводят бесчисленные поколения на край гибели и отчаяния, где величайшим стрелком считается целивший в солнце и понававший в луну, где троица валяется за грязным ведером и где единственно неизменною и признанною всеми является безжалостная река забвения и смерти, лижущая подножие колокольни.

Александрсен в изнеможении закрыл глаза и мысленно обозрел собственную жизнь. Молодой девушкой мать его, возвращаясь с религиозной беседы в соседней общине, была изнасилована матросом, обезумевшим от долгого celibата во время пребывания в море. В бабушкином

комоде он нашел пожелтевшие старые номера местной газеты с подробным сообщением. Так познакомился он со своим происхождением. Случай послал ему отца, случай дал мать. Случайностью было то Общее собрание, что выгнало его из родного города. Случайно нашел он доску, которую прибил над своею дверью с надписью, взятой со старого кофейника, чтобы подразнить Торбину. Случайно стал, благодаря этой доске, знаменитостью. Случайным было то настроение, которое заставило случайную кучку искателей счастья последовать за ним в его скитаниях по этому миру случайностей. Переходя от случайности к случайности, простой провинциальный портной очутился в этом пестром сборище флибустьеров и теперь незаслуженно стоял на вершине всех случайностей и с нечистой совестью взирал вниз на страну случайностей.

В трудолюбивой и скудной жизни рядового простолюдина все так правильно и упорядочено—обязанности снизу, законы сверху, что он чувствует себя сбитым с толку, не в своей тарелке, если ему случается или погрузиться настолько глубоко, что он ощущает холодное роковое дуновение случайности, бросающей жребий жизни и смерти для пролетариев жизни, или подняться так высоко в среду высших искателей счастья, что он чувствует весь порядок и авторитет жизни растворенными в пустом хаосе случайности.

Александрсена тянуло наверх, торжествующие гимны Леона Ахиллеса наполняли его предчувствием высшей, чистейшей справедливости, которую он найдет там, на высотах. Но вот он достиг высот и увидел, что жизнь растворяется в случайностях, а сам Леон Ахиллес со своими

опрокидывающими вверх дном весь мир гимнами, оказывается, обязан своим происхождением камышевке и дивану, набитому конским волосом.

В тупом молчании стоял Александерсен в своей застывшей черной портновской куртке и глядел в пространство с таким ощущением, как будто кто-то натянул ему нос.

— — — — —
— — — — —
— — — — —

ВЕЛИКИЕ ПРИЗРАКИ

Компания побывала на колокольне, видела величайшую достопримечательность города. Теперь всех подымало поскорее убраться из этой скучной дыры, вернуться в жизнь, к ее пестрой шумихе, лаврам и деньгам, борьбе и соревнованию, горечи и свежести. Отдохнувшие физические и умственные силы требовали деятельности, напряжения, борьбы, войны, победы...

Успели появиться новые конкуренты. Их надо было устранить. Открылись новые, богатые художественные рынки. Их надо было использовать. Какие-то фотографы вздумали без разрешения торговать портретами Леона и Мариорджии. Это надо было пресечь. Какие-то наивные дилетанты осмелились втихомолку, не платя гонорара, исполнять «Пасхальную кантату» Капеллы: «Господи, раб твой»... Их надо было прихлопнуть.

Дела призывали. Жизнь манила.

Вечером они устроили в «Очаге живых» блестящую бесшабашную пирушку при спущенных гардинах. Вино пенилось, хохот рассыпался градом, и Леон, стоя в венке

из роз на шелковието-черных кудрях, импровизировал свое незабвенное стихотворение:

Как орлы, мы сидим на вершинах
и заостряем клюв шипящий свой.
Наше счастье мы с собой носим на спинах.
И могучие крылья
несут нас без усилия
над будничною, жалкой суетой.

Александрсен, снедаемый тревогой, сидел в углу. Сквозь взрывы смеха и звон бокалов ему слышалось во мраке тяжкое гуденье больших колоколов смерти на соборной колокольне.

Он взял шляпу, чтобы уйти.

Ему закричали, что по обширному кладбищу бродят привидения. Но Александрсену это возбужденное веселье здесь, при свете ламп, казалось более фантастическим и жутким, нежели свежий сырой мрак там, со всеми его привидениями, от которых нельзя было отделаться никакими прикрасами, никаким хвастовством.

Он шел по улице. Останавливался. И опять шел. Поворачивал назад и снова шел вперед. Эта черная, зловещая река Смерти, уничтожения!.. Она текла здесь, у самого подножия колокольни. Темный ужас охватил его, и его тоскливою потянуло назад в освещенные комнаты, — пусть даже свет там был фальшивый, и радость дешевая.

Вдруг, взгляд его упал на обширное кладбище. Белые светящиеся тени витали между могилами. Это были призраки.

Да, это были они. Они существовали действительно. И его непреодолимо влекло к ним.

Но решетчатые ворота были заперты.

Один из призраков направился к Александрсену. Это был жизнерадостный, ясноглазый, низенький старик, напоминавший бакалейщика. Александрсен так и воззрился на него. Боже мой! Этот облик был слишком знаком ему по статуям и портретам.

— Вы бродите тут?—спросил Александрсен.

— Я являлся честно,—ответил призрак и засмеялся. —Они отравили меня цыкутой. А, умертвив меня, сделали бессмертным, клянусь Геркулесом!

— Ваш гений никогда не может быть позабыт,—сказал Александрсен.

— Чепуха,—отозвался Сократ.—Я только по мере сил избегал всякого лицемерия. Был средним, обыкновенным человеком. А потому и возбудил к себе такое колоссальное внимание, что отзвуки его и до сих пор еще не заглохли, за три тысячи лет.

— Вы ведь были умнее всех.

— Я был, во всяком случае, единственным, знавшим, что ничего не знаю. И за это обречен веки-вечные владеть за собой свою жалкую жизнь. Клянусь Геркулесом, это все-таки чересчур уж нелепо для человека с маломальски нормальными мозгами.

— Вообще-то люди очень не прочь жить,—сказал Александрсен.

— Да, раз они знают, что должны умереть. А если бы их силой заставляли жить, все бы рвались умереть, закрыть глаза.

— Тяжело, однако, быть забытым, исчезнуть без следа,—сказал Александерсен.

— Разве?—спросил Сократ.—Но и три тысячи лет подряд слушать, как люди, выходя из колыбели и ложась в могилу, на всех языках и говорах вечно рассказывают друг другу о том, как жена моя Ксантиппа окатила меня водой, клянусь Геркулесом, это в конце концов надоест хоть кому. Оставьте же меня, мое бедное имя и мою жизнь в покое, дайте мне с миром погрузиться в реку забвения, блаженнейшую из рек, и пусть себе другой слух, который больше заслужил это, разгуливает тут, разыгрывая для вас бессмертного.

Александерсен обернулся в ту сторону, куда устремлен был жадно-тоскливый взгляд Сократа, и увидел обрыв, а под ним реку Смерти. Эта страшная река казалась отсюда такой приветливой, озаренною дивным светом чистоты и справедливости. Всякая грязь жизни, казалось, претворялась в ней в покой... Она текла, баюкая в своем зеркальном лоне вечные туманы млечных путей.

Когда он оглянулся назад, Сократа уже не было на прежнем месте. Усталой, сонной поступью опять бродил он между кривляющимися бронзовыми и мраморными ангелами, демонстрировавшими на кладбище свою истерику или сентиментальность и жалобно требовавшими бессмертия на веки-вечные для падали хвастунов и крикунов, которые, прожив более чем достаточно долго, были, наконец, убраны с дороги, зарыты в землю, на трехаршинной глубине.

Александерсен шел дальше вдоль кладбищенской стены. Увидал скалу. На ней стоял черный призрак, скрестив руки на груди. Вот он шевельнулся... и Александерсен, узнав его, задрожал. Император!.. Как на о. Св. Елены, стоял этот странно-мрачный позер, искалитель счастья, передвигавший границы государств, как веревочки, игравший императорами и королями, как играют в кегли, равнодушно смотревший, как у ног его возятся, словно мыши, глупцы человечества, кто понося его, кто поклоняясь ему. Все было для него игрой, только игрой... и она кончилась! Осталась лишь пустота, тишина и праздность... противные, неизбежные.

Он распростер руки, словно призывая назад игру, жизнь, напряжение, сумятицу, крики...

Ничего не осталось от этого. Лишь воспоминания, тишины в устах школьников и болтунов... Да содеянные ошибки... непоправимые ошибки.

И он потянулся к реке, реке Смерти и забвения, к этому отражению бесшумных, бесформенных звездных туманностей и витающих огненных шаров... Там был сон, сладчайшее блаженство усталых, завершивших свое дело... Сон... Забвение...

Александерсен шел дальше вдоль стены. Но все его мысли были теперь обращены к великой реке забвения. По летнему тихая, насыщенная миром, сияющая блаженством, извивалась она золотистыми зигзагами по черной стране случайностей, колебля звезды в своем лоне.

Александерсен присел и просидел долго.

И вдруг, ему стало как-то не по себе. Невольно огляделся он вокруг и разом вскочил в величайшем волнении.

Из-за кладбищенской стены высовывал голову, в терновом венце, бледный, белый призрак.

У Александерсена отнялся язык.

Молча смотрел на него с минуту венчаный терном. И робко, юношески-застенчиво улыбнулся.—Меня презирают,—начал он.

— Как вы можете говорить так!.. Как можете думать!..—воскликнул Александерсен.

У Александерсена были свойственные рядовому простолыдину сбивчивые представления об Иисусе. С детства прокричали ему уши этим именем с истерическою пазойливостью; в конце концов, эти крики до того опротивели Александерсену, что он слышать больше не хотел об Иисусе. Но, как у глядевшего долго на солнце остается пятно перед глазами, так завязло это имя в ушах Александерсена. Оно и раздражало его, и вместе с тем оставалось именем превыше всех других или вне сравнения с ними, именем, которого нельзя было произносить иначе, как торжественным тоном.

И вдруг, он очутился лицом к лицу с самим Иисусом... не с раздутым епископами спасителем мира, который с театральною снисходительностью требовал, чтобы мир на коленях кланялся ему в ноги, но с печальным маленьким призраком в терновом венце на всклокоченных волосах. Тихим голосом, с почти презрительною скорбью повторил он:—Меня презирают!..—И не то лукаво, не то извиняясь, прибавил:—На мне тяготеет презрение мира!

Изумленный до крайности, затихший, впился Александерсен взглядом в этот знаменитый объект столь ожесточенной борьбы и такого поклонения... Какой неуклюжий, невзрачный... Карие узкие глаза глядят скорбно, а широкий еврейский рот в то же время улыбается... Грубые и жилистые плотничьи кулаки с выступающими костяшками пальцев лежат накрест на стене кладбища...

— Да, меня презирают от всего сердца,—задумчиво произнес он, устремляя взгляд в даль.

— Но ведь вы прославлены...—пробормотал Александерсен.

— Да, боже избави!—сказал Иисус, сухо, отрывисто, мельком взглянул на Александерсена и снова погрузил взгляд в даль... во мрак ночной.

— Уважают лишь победу, поражение всегда внушает презрение,—продолжал он насмешливо.—Да чем же иначе и руководиться?

— Но вы ведь победили...—сказал Александерсен, чувствуя себя совсем несчастным...

— Благодарю!—отозвался Иисус.—Победили попы, епископы, императоры и папы... органы, распятия, собрания во пленников и молитвословов, базары и пирожные с кремом... Ха! «Ехидны, порождения ехидн»—так обозвал я их. Мне было ведь всего тридцать лет. Эти слова меня и сгубили.

Александерсен выразил предположения, что люди уже перестали привязываться к этим словам.

— Я бичом выгнал их из храма,—воскликнул Иисус, и глаза его оживились.—Разве и об этом уже перестали говорить?

Александрсен ответил, что люди с тактом обходят молчанием и этот эпизод.

— Да?—воскликнул Иисус, воспаляясь:—А почему? Потому что я пал, сдался... сам отдался им в руки... позволил ехиднам предать меня поруганию и позорной казни... Победа была в моих руках... но руки у меня опустились... опустились... и я вдобавок простил их... ха-ха-ха!.. «ибо они не ведали, что творят»!..

— Но почему же...—прошптал Александрсен:—почему?..

— Почему!—воскликнул Иисус, и его резко очерченное, страстное лицо приобрело новое, величавое выражение детской искренности и чистоты:—Потому что я ведь любил их... этих ехидн, как это ни кажется невероятным, Александрсен! Я любил чернь, стоявшую у подножия моего креста, любил до самозабвения... Любил за то, что они меня ненавидели... а этого нельзя... иначе ты, стало быть, созрел для смерти. И я созрел. Я любил их, Александрсен, в этом была моя ошибка... потому что они знали, очень хорошо знали, что творят!

Взор его горел огнем, грудь дышала часто и горячо, и он, не отрываясь, глядел на окутанный ночью мир, где носящие пурпур владыки декламировали его имя, чтобы удерживать массы на коленях... а в самых глухих уголках грубые мелкие засильники блеяли то же имя, чтобы выманивать деньги у простодушных... И капля желчи брызнула с его уст, когда он прошптал:—Ехидны, порождения ехидн!..

— Дело ваше, однако, живет после вас,—сказал Александрсен.

— Нет,—твердо, решительно возразил Иисус.—Неправда. Дело мое умерло. Время истребило всякий след моего «дела», как вы его называете.

— Но ваше слово сохранилось,—настаивал Александрсен.

— Слово мое обращено было к поколениям, которые я считал последними, и они вымерли. Никогда не обращался я ни с единым словом через головы моих современников к грядущим поколениям.

— Но в священном писании...—начал Александрсен.

— В писании!—резко презрительно перебил Иисус.—Я никогда не писал.

— Но апостол Матвей пишет...

— Пусть Матвей за это сам и отвечает. Я никогда не поручал никому писать ни полслова.

— Но ведь и Лука тоже...

— Это на совести Луки и остается. Я обращал слово к поколениям, которые давно стали прахом. Я говорил с ними, любил их, жил для них, для этой черни, столь презираемой, попираемой, униженной и отверженной. Ее презирали, и я научил ее презирать,—презирать блага, которые великие мира сего присвоили себе, презирать эти блага, вместо того, чтобы униженно вымаливать их. Вот чему я научил их. Мы жили в великом напряженном ожидании близкого наступления царствия божия. Мы заблуждались, но это заблуждение давало нам силы. Мы считали себя способными двигать горы...

— Но все ваши слова...

— Мои слова, мои слова... мои жалкие, искаженные слова! Они не заповеди для нынешних поколений! Мог

ли я проповедывать народам, которых не знал? Слова мои умерли вместе с поколениями, к которым были обращены...

— Умерли!—воскликнул Александерсен.—Ваши слова! Слова любви! Сотни тысяч раз воспроизведены они и рассеяны нетленными памятниками по всей земле...

— О, да,—с'ежился Иисус,—и когда я вижу мои слова, одетые в золото, выставленные на показ, застывшие, мертвые... вырезанные на металле или на граните... мои горячие, живые... случайные слова,—я готов выцарапать их из камня моими окровавленными ногтями, потому что слова эти принадлежат мне, мне, мне! Они украли их у меня! И одно позабыли, другое запомнили, третье исказили... И берут одно, чтобы опровергнуть им другие... А мне приходится смотреть на это в молчаливом бессилии. Почему не прибегают они к своим собственным проповедникам, к своим собственным мыслителям, которые их понимают, живут среди них, действуют, обладают живою силой, живым умом?... Мое время прошло, мое дело кончено. Я хочу умереть... Хочу исчезнуть. Успокоиться. Дайте же мне покой в могиле!.. Покой!.. Покой!.. Покой!..

И, ломая руки, Иисус тянулся к реке, к реке смерти и забвения, постепенно светлевшей с наступлением расвета.

Где-то вдали прокричал в курятнике петух.

Жизнь просыналась для нового дня забот и хлопот.

Иисус медленно бледнел и таял в нарастающем сиянии зари.

РЕКА

Мариорджия ненавидела всякий вздор. С ворохом писем, записок, приглашений и ангажементов в руках вышла она на следующее утро из своей комнаты, фыркая от нетерпения: сию же минуту вон из этого ужасного города!

— Но портной?...—начал Леон.

— Пусть убирается к порту! Что мне до него?

— Он хочет побывать на реке Смерти.

— Пожалуйста,—сказала Мариорджия,—пусть себе там и уеядется инить саваны. Нам-то что?

— Нельзя пустить его туда одного. С ним что-нибудь случится.

— Да пусть его умирает, если угодно!—кричала она,—Или и вы все с ума посходили? Река Смерти, колокольни Смерти, кладбище Смерти... Разве мы для того родились, чтобы нюхать тут трупы да гробы? Это ни на что не похоже! Я ненавижу смерть... ненавижу, ненавижу, ненавижу! Меня от нее мутит, тошнит... а потому прочь отсюда!

— Тсс!..—шикнул Леон, смеясь и указывая на вереницы смертников в белом, тихо шагавших по улице.

— Плевать мне на эти мумии и привидения! Вот я им сыграю сейчас!—крикнула она и села за рояль:—Пусть слышат, что мы-то живые!—И она грянула бурный, ликующий, победный марш, резко загрепевший в тихих призрачных улицах города Смерти. Щеки Мариорджии пылали, ноздри раздувались, прекрасные губы упрямо змеились, и она вдруг запела. Громкие, ликующие звуки полились из ее трепетной, волнующейся груди...

Бум—м—м...! Загудел колокол Смерти. Звон врывался в окна и дверные скважины.

Но Мариорджия пела, пела в самом городе Смерти, и ее пение своими вибрирующими, ликующе-рыдающими звуками на время заглушило даже звон колоколов Смерти.

Буйно и гордо вскочила она из-за рояля. В дверях и окнах торчали головы, головы захваченных этим откровением красоты и гордого вызова.

Леон лежал у ее ног в почти религиозном экстазе, покоренный этим вызовом, брошенным самой смерти. Никогда еще Мариорджия не казалась ему такою ослепительною, обольстительною, как сейчас, когда вся дрожала и фыркала от гордого отвращения, от накопившейся жизненной энергии.

— Ты и я... возлюбленная, дивная!..—шептал Леон, успокаивая ее.—Что нам с тобой до смерти и забвения! Как гравий на берегу морском, лежат где-то в глубине под нами головы смертных. В тесном союзе смело пройдем мы жизнь, полную бурь и ярких красок и благоухания!.. Но,—прибавил он лукаво:—раз мы уже здесь в этом

городе, где протекает эта дурацкая река, и раз портному так дьявольски хочется посмотреть на нее... и т. д. и т. д.—шептал он, тихонько увлекая Мариорджию к дверям.

— Но по реке мы не пойдем!—крикнула она.

— Мы только взглянем на нее,—сказал Леон.—Дорога, говорят, заканчивается платформой с перилами, скамейками и объявлениями.

— До платформы и—ни шагу дальше!—согласилась она.

Запаслись палками, верхней одеждой, биноклями, конфетами, цветами и с громогласной, почти вызывающей веселостью, двинулись в путь пестрою кучкой вслед за Александерсеном, по извилистой дороге, обнесенной решетками и отлого ведущей вниз к реке.

Мариорджия шла, закинув голову с видом оскорбленной королевы. Как кошка ненавидит воду, так ненавидела она—крепко, упорно—все, что отзывалось мертвечиной. Ее тошнило от одного вида жалких пилигримов с отвратительными, дрожащими куриными лапами и ужасными гробами. Они были ей противны тем более, что она сама временами начинала ощущать собственный свой бранный хребет за воспаленными внутренностями.

Перед изваянием «ангела Смерти» какой-то маленький горбун потихоньку скреб дорожку.

Леон мгновенно подтолкнул Мариорджию. Княгиня шла, вытянувшись в струнку, глядя в другую сторону и напевая.

Громогласная компания разом затихла по мышиному.

Александерсен удивленно обернулся на горбуна, который продолжал тихонько свое дело, ничего не видя,

не слыша и не желая ничего видеть или слышать.—Кто это?—спросил Александерсен.

— Князь Катт!—шепнул статский советник так, что слышала вся компания, быстро спускавшаяся с следующей лестницы.

Тут попалось им последнее живое создание—старый слепой певец, от которого издали разило водкой и болезнями.

Запыленный, трясущийся сидел он тут со скринкой, пиликал и пел—беззубо, монотонно, печально,—вертя на соднице слепую головою в такт музыке.

Они стали спускаться дальше по новой широкой лестнице. Краски их одежд начали линять.

— Отец небесный!—воскликнула Мариорджия, озирая свой роскошный наряд:—Я хочу назад. Сейчас же! Вернемся!

— Успокойся,—сказал Леон, подстрекаемый новым, странным интересом:—Мы только до платформы!

И все с испугом поглядывали на свои линяющие рукава, воротники и блекнувшие цветы в руках у княгини. Однако, все невольно шли дальше...

Мариорджия вынула конфеты и первно принялась совать их в рот. Но вдруг с отвращением выплюнула и заглянула в свой мешочек с марципаном: и марципан полинял, утратил свой аппетитный вид, а на вкус отзывался водой и глиной! Даже содержимое походной фляжки статского советника отзывалось не вином, а деревянным маслом!

Тут им пришлось обратить свое внимание на другое.

Перед ними текла река, могучая, широкая и странно неопределенная в дымке тумана.

Не слышалось ни звука, не пролетало ни одной птицы.

— До самой платформы,—шептал Леон, и наконец все они, мертвенно тихие, онемевшие от ужаса и благоговения, стояли на платформе, огороженной прочными перилами. На столбе висела доска с крупной предостерегающей надписью: «Туристам под угрозой смерти запрещается выходить за загородку».

В аршине расстояния за загородкой клубился уже легкий пар, белесая или бесцветная туманность, туман Смерти.

На другой доске было написано: «После заката солнца туман приближается, и в это время оставаться на платформе запрещено».

В стене, рядом с платформой, была калитка, выходящая на самый берег реки.

Вытаращив глаза, притаясь, как мыши, члены компании в глубоком молчании наблюдали за пилигримами, которые один за другим проходили мимо них в калитку и как-то испарялись или таяли в тумане... Молчаливые, бесцветные, сосредоточенные шли они и исчезали.

Калитка не затворялась почти ни на секунду.

Старуха с благородными чертами лица, изборожденного следами пережитых испытаний, скользнула мимо них в небытие.

Княгиня вздрогнула и взглянула на Мариорджию:— Это не...?

Мариорджия с побелевшими губами, молча, вызывающе кивнула.

Вот исчезли в тумане плечи старухи и ее белый головной убор... Секунду назад складки ее савана коснулись их шелковых одеяний... Теперь вечность уже сомкнулась за нею.

Подожли двое детей, держась за руки.—Отец спустился туда,—сказал мальчуган.—Отец верно ждет нас,—переговаривались они между собой, смело проходя в калитку.

Княгиня вздрогнула:—Это не Кай с Геммой?..

Леон сделал было движение вперед, Мариорджия быстро отдернула его назад.

Калитка не затворялась почти ни на минуту.

—Александерсен! Куда он?! С ума он спятил!?!—вопил статский советник, лязгая зубами от страха. Торбина визжала и бранилась, Мариорджия кричала, у Леона глаза готовы были выскочить от смеха и ужаса. Александерсен прошел в калитку. Леон подцепил его костылем зонтика за воротник и притянул обратно, но Александерсен предложил им всем убираться к чорту. Они тут не хозяева.

Наконец, столковались на том, что его обвяжут веревкой, с помощью которой можно будет вытянуть его назад. И, устремив взгляд перед собой, он твердо и решительно пошел. Шляпа его исчезла в тумане.

Все тише становились всплески реки по мере того, как он подходил к ней.

Странная глухая тишина, мягкие сумерки окутывали его какою-то нежной лаской, в которой тихо таяли его сила и воля.

Им овладевала страстная тоска, сродни тоске по родине, непреодолимое влечение туда, в эту реку, курившуюся туманом вечности.

Весь мир позади и вокруг стал туманом, ничем, исчез. Осталась лишь его собственная душа с ее великими тревожными вопросами, с ее неутолимой неудовлетворенностью. В распаленном воображении своем он готовился к неистово-упорной, последней предсмертной борьбе души, и вдруг... ничего похожего!..

Великий вопрос, вечно свистевший в его ушах, как стаи пролетающих птиц, стихал и замирал странным образом, не требуя ответа, как будто самая загадка жизни была чем-то смертным, и теперь вместе с ним скользила в вечность, рассеивалась.

Сладко и тихо распадалась его недодуманные мысли, становясь расплывчатыми впечатлениями, без связи и без цели...

Ни вопросов больше, ни потребностей... Его существо плавилось в каком-то странно-блаженном жару, вливалось в хаотическую светящуюся серую мглу. Конец долгому утомительному бодрствованию жизни. Сладко, сладко расплавиться, погрузиться в дремоту хаоса... мирно уснуть, как ребенок в утробе матери, под баюкающие напевы вечного целого, в этом бесформенном безымянном, неподвижном море блаженства, без течений, без водоворотов...

Что-то неприятное, враждебное прорвало этот сгустившийся покой... Что: укол ножа, крик, горький вкус?.. Определенного ощущения не было, но покой был возмущен, нарушен.

Это натянулась и остановила его веревка. А затем его стали вытягивать из тумана назад.

Столь близкое лоно блаженства, куда он бессознательно падал, постепенно закрывалось для него, и душа его тосковала, чувства вопияли...

Холодная молния сознания болезненно пронизала его наполовину расплывшееся «я»: Где я? Кто я?.. Душа плакала, как заспавшееся дитя, когда его грубо будят. Кровь в нем вскипала отвращением, глаза с отчаянием впивались в эту чудесную реку, в этот мир ликующего, растворенного, свободного блаженства, сладостного покоя.

Он ощущал безмерную, никогда еще неизведанную скорбь, медленно, противоестественно удаляемый оттуда, пятясь назад, в какую-то холодную, твердую, сухую, отвратительную среду...

И вдруг, сознание вспыхнуло в нем полным светом. Он в бешенстве обернулся, чтобы освободиться от этой веревки, тянувшей его обратно на эти чужие ядовитозеленые берега, к этим чуждым паразитным созданиям, которые вне себя от радости, тащили его к себе на веревке.

Последний аршин... Протянулись руки и выхватили его из тумана.

И замыкавший его магнетический ток реки и тумана как будто разом порвался, чары с него спали. Он вернул-

ся в мир странно трезвым, бедным, равнодушным. Машинально, как слова мало знакомого языка, воспринимал он слова, обильно летевшие ему навстречу. И глядел во все эти окружающие его глаза так безучастно, как будто сравнивал между собой разноцветные стеклянные шары.

Они вернулись в гостиницу тою же дорогою, мимо изваяния ангела Смерти и видели на расчищенных дорожках следы двух блуждавших здесь взад и вперед детей. Можно было догадаться, что они кого-то искали, звали...

Вернувшись в гостиницу, Александерсен уселся на солнце и сидел, глядя в пространство, час за часом.

— Портной размышляет, — заявил статский советник с клоунской гримасой, подцепляя себе кусок на вилку.

Но это было неверно. Александерсен перестал размышлять. Весь этот мир казался ему таким нереальным, мишурным в сравнении с вечным хаосом Смерти и Сна, в который он заглянул.

— Ну, пора нам покончить с этими портновскими бреднями! — сказала Мариорджия, когда они встали из-за стола. — И как можно скорее выбраться отсюда!

Но княгиня, уже просмотревшая полученную на ее имя почту, с ядовитой улыбкой показала Мардиорджии записочку от императрицы Лизии.

«Любимая Лесная горлянка!

Добро пожаловать, все, все, все! Милости прошу в гости ко мне, во дворец, всех вас, избранных жизни.

Душа моя бурно стремится вам навстречу. Но прежде всего: привет Александерсену, гостю в персти, моему душевному другу, которого я еще не видала... и т. д. и т. д.

Твоя
коронованная голубка».

— Ну, теперь мы не отделаемся от него до самого светопреставления!—сказала Мариорджия.

— А кто виноват?—колко спросила княгиня.

— Я... и сам портной!—рыцарски ответил Леон.

И акции Александерсена снова поднялись.

А вечером, когда компания упаковывала свои пожитки в чемоданы, готовясь вернуться к жизни, к ее радостям, трудам и аппетиту, им послышалось, что кто-то ходит по улицам, кашляет и кличет в тумане ночи:—Гемма! Кай!.. Гемма! Кай!..

Раз за разом повторялся этот клич, полный раскаянья и скорби.

Наконец, около статуи ангела он нашел следы детей на расчищенных дорожках. И голос стал удаляться по направлению к реке. Там, кричавший исчез за калиткой, глухо кашляя и неумолчно взывая:—Гемма! Кай!.. Гемма! Кай!

Это был Тетрарх.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Вперед! Из смерти мирного предела.
Зовет нас жизнь покинуть этот край,
где души умирающие, в белом,
под звон колоколов, бредут в маянций рай.
В нас чувство жизни ведь еще не охладело,
но в свой черед и мы свернем, как ни мечтай,
сюда, где солнце золотит гробницы,
и кроет плющ имен забытых вереницы.

Вперед! В страну живых, к знакомой были,
к родным, друзьям, приятелям, под кров.
Они, пожалуй, нас уже похоронили.—
Скорей! Не ждет экспресс. Он отойти готов.
Садитесь, отряхнув плащи от пыли,
с газетою в руках, с сигарой меж зубов...
Приять почтенный вид, притичными быть надо,—
мы к жизни близимся!—Чу! Канонада!

ПРИБЫТИЕ

Большое брожение среди портных и портних во всем мире вызвала весть, что простой портной будет гостем самой императрицы в императорском дворце.

Сколько злобы и горечи изливалось на счастливое избранника! Какой же он, однако, низкопоклонник и лизоблюд, что принял приглашение!.. И к императрице попало всякое уважение, раз она опошлilась до того, что яkшается с простым портным. Правда, портные и портнихи, сидя со своими лоскутьями и ножницами за чашкой кофе, не очень-то церемонились со всеми этими императорами и императрицами, но все-таки: пока императрица смотрела на портных сверху вниз, до тех пор—это факт—и портные волей-неволей смотрели на императрицу снизу вверх.

Но, как только императрица обнаружила, что портные для нее не просто грязь, прилипшая к ее каблучку, в тот же миг чары распались, и раз императрица вдобавок выудила одного отдельного портного и признала его себе равней,—всякое почтение к ней разом испарилось, и портные стали третировать ее—за чашкой кофе—как лую мусорщицу или торговку семечками.

До тех пор, пока не произошел новый поворот в умах, вызванный переходившим из уст в уста сообщением, что Александерсен знаменитость всемирная, великий человек, воистину великий, и не выдуманный, а настоящий, живой, словом, нечто совсем иное, нежели они, неизмеримо высшее и даже недоступное их пониманию, на что им полагается лишь возводить взоры с благоговением... Тогда ко всем портным и портнихам опять разом вернулось их душевное спокойствие и счастливое равновесие. Весело насвистывая, кроили и шили они, все с большим и большим почтением и восхищением дендешской, рассуждая об Александерсене, который оказал честь их скромному ремеслу, став портным, и с напряженным интересом читали все более и более обильные газетные заметки об этом замечательном портном, которого ожидали ко двору вместе с его свитой из величайших знаменитостей человечества.

Сам Александерсен не имел ни малейшего понятия о том, до какой степени распространена была его слава по всему миру.

— Мир это глухой провинциальный уголок, — говорил Леон, смеясь: — а газеты — его уличные зеркала, приделанные к окнам!

Необыкновенные странствия стольких знаменитостей в свите простого портного не могли поэтому остаться незамеченными. Напротив, все человечество с живым интересом следило за оригинальной компанией — от самого города Молодежи до города Смерти. И теперь, когда они вдобавок, с знаменитым Леоном и божественною Мариорджией во главе, приближались к самой столице, сен-

сация достигла высших пределов. Мариорджия жива. Мариорджия еще поет, Мариорджия — вечно юное дитя неожиданностей и сенсаций — снова восстала из могилы, вышла из клиники, оправилась от черной меланхолии и едет сюда опять подругою самого Леона!.. Мир снова услышит ее божественное пение!.. И Мельба, гениально-смелый Мельба, чьи длани хватали за горло вселенную, снова всплыл на поверхность! Что он затевает? Да еще в компании с Тюрко, своим заклятым врагом! Поистине человечество ожидают великие события!.. И статский советник, и княгиня Катт, и Уриан, и Бурриан, и Корнино... Корнино, прокаженный гений вместе с Буррианом!.. Словом, настоящий букет мировых гениев и великих людей!.. Букет, собранный провинциальным портным! Да кто же он сам, этот «гость в персти»? Леон воспел его в лучшей своей поэме, статский советник никогда не достигал высшего мастерства кисти, как именно в написанном им портрете этого замечательного человека, этого провинциального портного, которого сама императрица пригласила к своему столу, как... «одного из величайших и замечательнейших сказочных героев истории».

Но сам Александерсен оставался нечувствительным к возбужденному им вниманию. Он ведь побывал на реке Смерти, погружался в туманы забвения.

Как рукой сняло там с него всю его живость и восприимчивость, упругость и свежую наивность его натуры. Глаза его приобрели холодный, колющий блеск. Руки повисли, как плети, походка отзывалась усталостью.

Но он не становился от этого менее интересным.

Напротив.

Как раз этот его равнодушный, пресыщенный вид и налагал на него настоящую печать увенчанного лаврами гения: теперь-то, когда он едва благоволил держаться на ногах, едва шевелил губами, именно теперь, все и каждый видели, что он—сверхчеловек.

— У него есть свой стиль,—сказала княгиня в то время, как экспресс мчал их вперед... вперед... вперед—по местностям, опустошенным ужасной войной.

Пустыни и обуглившиеся развалины... развалины и выжженные пустыри. Поля, изрытые траншеями... пустыни без единого деревца, без единой былинки, исковерканные тысячами взрывов.

И снова пустыри, пустыри с остатками старых мостовых, по которым уныло бродили сторбленные жалкие люди, бесприютный сброд, обнюхивая, как шакалы, те места, где они прежде жили и были счастливы.

— Брр!—содрогнулась Мариорджия.

— Не говори об этом,—попросила княгиня. Вся академия с напряженным интересом, затаив дыхание, глядела в окна вагона, на те места, где сыграли свою последнюю шахматную партию Тюрко и Мельба. Где философствования Куриана и идеи Леона, насажденные в души человеческие, вступили в отчаянную схватку... в то время, как сами великие мужи преспокойно сидели да посяживали себе в уютных виллах города Будды.

Пустыри, развалины, пустыни... развалины и пустыри...

Лишь один из компании созерцал это зрелище с полным равнодушием и невозмутимостью: Александерсен.

Для него весь мир был нереальным пустырем... так не все ли равно, где был он выжжен или разорен больше, где меньше?

В душе его слабо трепетали воспоминания о реке Смерти. Он оглядывался назад—на великое блаженство забвения и ликование бессилия—в то время, как экспресс, громяхая, мчал его вперед.

Вперед, вперед—на свидание с владыками и господами мира!

Мариорджия бегло, испытующе поглядывала на него и кивала княгине:

— Да, он очень стилиен!..

ВЛАДЫКИ и ГОСПОДА МИРА

Одна королева сбежала с подмастерьем цырюльника. Две принцессы завели тяжбу с родным отцом, чтобы оттягать у него побольше из наследственных богатств, которыми он сам завладел обманом. Двенадцать высокородных придворных устроили заговор против королевской четы, захватили ее ночью в постели, обезглавили, вышвырнули трупы на двор собакам и выкупали вдовствующую королеву с головы до пят в крови убитых. Один президент был изобличен в содержании игорного притона, один племянник императора оказался замешанным в крайне грязные проделки с мальчиками, один кардинал так запутался в какой-то банковской афере, что принужден был на время скрыться с горизонта... Словом, владыкам и господам мира временно не везло, и смиренно гнущие колена рядовые люди толпы пребывали одно время в полном замешательстве, не зная, перед кем же им рыть землю носом?

Тут, к счастью, разразилась война, великая война. —Мы не хотим воевать!—протестовали мятежные умы.

—Мы не хотим воевать!—грозио ревела чернь.—Мы не хотим воевать!—хныкали женихи.—Мы не хотим воевать!—стонали отцы семейств.

— Не хотите?—отвечали владыки и господа мира. —Нет, вы должны.

И бичи свистали, палки жигали, удары сыпались градом, ружья палили.

Эту музыку рядовой человек мог уразуметь. С блаженной радостью принимал он побои и ругань. С детским восторгом снова чувствовал, что у него есть на земле энергичное, деятельное провидение. Чувствовал, что его короли и императоры все-таки еще не совсем сгнили заживо. Пусть даже они были шайкой воров, мошенников, разбойников и убийц, командовать они умели, а большие ничего рядовой человек в конце концов и не требовал от своих повелителей. Пусть они будут глупы, лживы, подлы, жадны, заражены всеми пороками, лишь бы умели командовать.

И для рядовых людей настало блаженное время: трубы трубили, сержанты ругались и давали затрепнины. Рядовому не было никакой нужды размышлять, чувствовать, хотеть; он мог всецело отдаться сладчайшей своей потребности—погрузиться в полную пассивность, в великое бессознательное безволие или безвольную бессознательность—стать ребенком, которого отец ведет за руку...

Да, отдаться, забыться в громе орудий, в вихре ужасов, беззаконий, смерти... и при последнем своем издыхании хрипеть «ура» в честь того, о ком с документальной точностью известно было, что он мошенник!

Война величайшая святыня рядовых людей: Пан тру-

бит в свой рог в глубине глубин народных масс. И, как стада буйволов, сшибаются народы с народами, с грохотом и яростью валов морских... И в результате столкновения рядовой лежнит в крови, извиваясь в муках, и лижет окровавленные руки своих хладнокровных тиранов в экстазе самоуничтожения и безумного героизма... умирает с последней вспышкой румянца, вызванной тем, что к груди его прикалывается крестик, орден, прикалывается той же рукой, которая фухтеляла его.

Наконец настал мир. И опять наступили великие дни для рядового человека.

Колокольный звон возвещал мир. И рядовые люди карабкались на холмы и вышки, чтобы лучше слышать святыне звуки.

А мимо со свистом проносился поезд за поездом, вагоны с владыками и господами мира, спешившими на конгресс, на конгресс мира: поезд короля, поезд императора, поезд папы, поезд генералов, поезд дипломатов, поезд миллионеров и акционеров.

И чернью вновь овладела горячка поклонения. О!.. все валом валили к станциям и вокзалам—и калеки, и инвалиды, и вдовы, и сироты—взглянуть на владыку и господ мира, на могучих своих повелителей.

Людей, собравшихся помолиться, разведало, как мякину ветром, стоило только засвистать вдали знатному поезду. В две-три минуты церковь пустела... лишь кое-где виднелись на полу калоша, молитвенник... лужица, а все прихожане мчались опрометью к ближайшему вокзалу

и таращились, разинув рты, кланялись и кричали «ура» своим палачам, пролетавшим мимо в вагонах с занавешенными окнами.

Один поезд оказался, однако, самым сенсационным, окруженным ореолом самых причудливых фантастических слухов и выдумок. Это был поезд, мчавший в столицу Александерсена с академиками, баснословный поезд... триумфальный поезд... сказочный поезд!

Приветственные клики встречали их на каждой остановке, и у статского советника сделаться настоящая публикомания (а это для великих людей столь же опасно, сколь слабость к королям опасна для маленьких людей), и он лихорадочно рвался из вагона на каждой станции, чтобы показать публике свое пузо. Вообще, ведь, маленькие люди лихорадочно жаждут лицезреть великих, а великие—быть предметом лицезрения.

Всякий раз, как поезд подходил к новой остановке, вся компания начинала подсмеиваться, слушая, как статский советник заводил речь о том, что ему необходимо выйти освежиться, промяться, напиться и тому подобное.

Все отлично знали (по себе), какие чувства шевелились в нем.

СРЕДИ ВЛАСТИТЕЛЕЙ

Владыки и господа мира собрались на конгресс—на конгресс мира.

Семь лет неистовствовала война—знаменитая семилетняя война.

Война началась на территории старинной Пограничной страны, население которой, с экс-президентом Мельба во главе, отказалось признавать синий флаг, упорно требуя права махать белым.

Завоеватели и властители Пограничной страны, ее сильные Синие соседи, ответили на это тем, что подвезли пушки ко всем ратушам страны, заставили повсюду поднимать синий императорский флаг и засадили экс-президента в тюрьму, откуда он, однако, бежал переодетый одноногим точильщиком.

Прежние завоеватели Пограничной страны, ее Белые соседи наводнили страну тайными агентами, мутившими население. Дворяне устраивали тайные сборища, на которых, в присутствии экс-президента Мельба, синий флаг с пением национального гимна и с молитвой всевышнему обмакивался в мочу шелудивого пса.

Третья соседняя держава, у которой флаг был зеленый, моментально заключила союз со своим исконным врагом, Горною страню, носившей желтый флаг, чтобы совместно напасть на Белую державу, одна половина которой полтора-два столетия тому назад фактически пользовалась зеленым флагом, а другая желтым. Зеленые и Желтые втайне порешили разделить Белую державу между собою,—буде удастся сравнить ее с Синими.

План этот был выдан одним подкупленным телеграфистом (будь он проклят), и виднейший государственный деятель Белых, принадлежавший к партии умеренных,—сын токаря, получивший богословское образование,—выдвинул в последнюю минуту компромиссное предложение: предоставить Пограничной стране в течение ближайших 25 лет право махать белым флагом по два часа дважды в месяц, по воскресеньям.

Этот неуклюжий проект разъярил все пять держав. Сына токаря сбросили с трибуны, друзья Леона Ахиллеаса, самые неумеренные Белые, встали у кормила правления, и войско Белых совершенно неожиданно вторглось в желтые пределы. Желтые были совсем еще не готовы к войне и моментально капитулировали, заплатили колоссальную контрибуцию и выдали весь свой флот и всю армию.

Синяя держава моментально вторглась, для восстановления равновесия, в Зеленую, и та после ряда ожесточенных боев, под гениальным руководством Тюрко, вынуждена была заключить мир, выдав всю свою государственную казну и всю армию и приняв синий флаг, а Тюрко бежал из страны, спрятавшись в винную бочку.

И Синие и Белые набрались теперь сил, и в тропицы день утром белые, синие, желтые и зеленые войска внезапно со всех четырех сторон вступили в Пограничную страну и превратили ее на целых 5 лет в одно сплошное гигантское поле битвы. Ее города сжигали, жителей истребляли, а всех дворян Синие посадили в тюрьму и довели свое глумление над старой Пограничной страной до того, что самый цвет ее аристократии целых девять суток продержали под арестом—в молитвенной зале с голыми стенами, без обоев, на одной овсянке да бобах!

Много раз в течение войны государственные деятели Белых и Синих пытались на неофициальных съездах нащупать почву для мира, но тщетно. Зато на одном из таких съездов впервые фигурировал знаменитый замороженный соус с трюфелями, объединивший восторгом всех завтракших дипломатов, но на последовавшем затем заседании скоро выяснилось, что для прекращения военных действий время еще не пришло. Белые, правда, сознавались, что израсходовали весь свой первосортный человеческий материал, но не без основания упирали на свои еще значительные желтые резервы.

Война продолжалась еще два года с переменным счастьем, пока, наконец, смрад от трупов не стал чересчур бить в нос лицам, смотревшим на войну из окошек дворцов всех четырех стран. Да, плебейская вонь всех этих убитых салюкишников и портных стала, наконец, невыносимой для королей и королев, президентов и министров; их тошнило и рвало по целым суткам.

Тогда святейший папа, по почину императрицы Лизии, выпустил свое прочувственное послание: сам господь

явился ему и возвестил, что такая продолжительная бойня прискорбна и вряд ли ее следует продолжать далее, нежели это необходимо. Психологический момент, очевидно, наступил, и в то же время известный дипломат граф фон Сигаретто выдвинул свой гениальный проект примирения: Белое и Синее правительство сообща водворяют порядок в Пограничной стране, и жителям ее будет разрешено пользоваться не синим и не белым флагом, но голубым.

Восхищенные представители наций наградили остроумного графа за его премудрый проект бурными рукоплесканиями.

Синий двор и Белый двор отнеслись к проекту сочувственно; во всяком случае, это было почетным выходом для обеих сторон. Парламенты стран победительниц организовали торжественные процессии в храмы. Князья публично причащались, а сам император целых 5 часов пролежал в молитве перед алтарем, на молитвенной скамье особой конструкции, и велел сфотографировать себя в этой позе для воспроизведения портрета в иллюстрированных органах общей прессы. К сожалению, оказалось, что население самой Пограничной страны было поголовно истреблено. В конце-концов, среди развалин одного «Дома призрения» отыскалась-таки 79-летняя старуха Анна-Маргрета, которая и одобрила проект, после чего уже был созван общий конгресс мира.

Под звуки приветственных фанфар доставили старуху Анну-Маргрету в столицу в экстренном поезде, с почетною военною стражей, и мирный конгресс открыт был графом фон Сигаретто, потребовавшим, чтобы Собрание

возвысилось «до высот вечного правосудия небес». Остальные ораторы выражались в столь же высоком и серьезном стиле.

Исторические заседания происходили в большом тронном зале; из его огромных окон на восток, на юг, на запад и на север открывался несравненный вид на далекую панораму всего горизонта—с дымившимися еще городами и селениями.

В залах этого дворца рождались императоры и короли... императоры играли с королями.

Снаружи доносился в эти залы глухой рокот народного моря, зловещий шум, подобный шуму векового, бесконечного леса.

Во дворце заседал конгресс мира, величайшее когда-либо виданное в мире собрание повелителей и предводителей—дипломатов, президентов, министров, королей, императоров, биржевиков, генералов и миллионеров со всех концов света.

Пестрое собрание всевозможных физиономий: продолговатых и узких, широких и плоских, пресыщенных и тупых, умных и глупых... И представителей всевозможных классов и профессий—бывших: инженеров путей сообщения, офицеров, студентов, мясников, камер-юнкеров, священников, крестьян, адвокатов и журналистов. Но у всех были общие черты: решительно и властно сжатые челюсти, быстрый, как молния, пронзительный ястребиный взгляд, напряженная, изощренная чуткость слуха и несокрушимая самоуверенность, приобретенная долготным пребыванием на виду.

Глядеть с их высоты на человечество—смотреть на море с капитанского мостика.

Как моряки вообще боятся и не любят воды, так все эти господа питали страх и нелюбовь к бурному, капризному морю народному. Но, как старые моряки не могут жить без моря, так и эти господа не могли существовать, не имея глубоко внизу, под собою, моря народного.

На четвертый день конгресса зашла речь об Александре и его замечательном странствии.

— Пф! Какой-то провинциальный портной!—ныхнул кто-то.

— Но он составил себе замечательную свиту,—возражали другие.—Сам Леон Ахиллес...

— Ну, этот шалопай, уличный мальчишка!—кричали некоторые.

— Но и сам Мельба и Тюрко тоже с ним...

— Он побывал в городе Духа и подымался на высшую точку жизни...

— Да, газеты только об этом и кричали!...

— Он побывал и на реке Смерти,—вставил кто-то с некоторым конфузом.

— Говорят, он творит чудеса!

— Вадор! Никто чудес не творит!

— Я сам читал в утренних газетах. И мало ли что есть между небом и землей, о чем...

— Это новый Иисус,—сказал один углубленный в себя президент.

Общее молчанье и насушенные брови.

— Неужели мы опять начнем эту историю сызнова?— проговорил, наконец, один генерал.

— Вздор! Чтобы какой-то портной,— начал кто-то.

— А кто был Иисус? Какой-то святоша, плотник или столяр...

— Не глумитесь над святыней,— запальчиво крикнул толстый биржевой матадор.

— Слушайте! Слушайте!— закричали кругом и зажали дыхание.

И вдруг все заговорили о том, что великим людям следует быть осторожнее и не подрывать уважения к авторитетам.

— Но что ему нужно? Он хочет поднять мятеж?

— Он гость на земле,— насмешливо сказал кто-то.

— Что такое? Гость? Замечательная выдумка.

— Она уже вошла в поговорку!..

— Он— протееже самой императрицы Лизии,— зашептали там и сям.

— Подлинный социальный реформатор... Настоящая комета... и т. п.

— Лучше всего будет отнестись к нему с известным почтением— таково было общее заключение.— Не может же в самом деле все это быть пуфом, если сам Леон и Марнорджия...

И вскоре голоса понизились до шопота в игривом споре о ногах Марнорджии, длившемся, пока не явился фотограф снять участников конгресса общей группой.

— Раз... два...— считал он, и все собрание мигом преобразилось: появились тонкие, умные улыбки, мужественные решительные мины, руки и ноги приняли торже-

ственные позы. В результате, получился превосходный снимок. Всем этим господам было не привыкать стать к позированию.

На другой день по приезде, Александерсен сидел в гостинице.

В'езд свой в столицу он совершил при радостных кликах населения, под звуки духового оркестра, приветствуемый флагами и цветочными гирляндами. На завтра назначен был торжественный прием в императорском дворце и затем представление Александерсена конгрессу.

Молча сидел он у стола, держа в руках фотографическую группу членов конгресса, а Леон, Мельба и княгиня давали ему остроумные и едкие характеристики различных исторических лиц.

Они-то знали этих лиц досконально, называли их за просто, по именам или прозвищам: Нильс-Петер, толстый Мас, Колумб, Модник, Прекрасный друг, Головная водянка и т. п.

Александерсен сидел молча, угрюмо сосредоточенный. И это— собрание верховных правителей мира!?

С детских лет, у себя на родине, в захолустье, чувствовал он лихорадочную трепетную робость перед почтенными членами городского «Правления»— пока сам не вошел в состав Правления и, к своему великому изумлению, не нашел, что вблизи оно представляет просто на просто случайное собрание старых олухов и болтунов.

Как рядовому человеку, внушали ему затем подобающую робость великие умы и могущественные повелители человечества. Робость эта, словно лихорадка, просачива-

лась во все его чувства и помыслы, делала их неуверенными и шаткими.

И вот... теперь он сидит здесь, так близко от верховных правителей мира... Завтра «предстанет» перед ними лицом к лицу, но уже сейчас испытывает то же, что испытал на родине, вступив в состав Правления,—с удивлением спрашивает себя: «и только-то?»

Ни робости, ни лихорадочного трепета. Он ощущает в душе лишь пустоту, неловкость... как бы парализующие его—тем более, что ведь на этот раз он имел дело с «наивысшим правительством в мире». Старое городское Правление там, на родине, устраивало общие собрания, обыкновенные и чрезвычайные, которые будоражили город, но могли в конечном счете привести самое большое к бойкоту какого-то портного.

Эти же правители, сидевшие в фотографических позах, с фотографическими улыбками, устраивали бои народов с народами, разбрасывали людей, как заблудившуюся скотину, по всей земле, превращали тысячелетние города в дымящиеся пустыри... Засунув руки в карманы, с сигарами в зубах, они стряпали величайшее—мировую историю!

Александрсен всматривался в эту фотографическую группу кабинетного формата.

Дома, на стене, над кофейником, висела подобная же кабинетная группа членов городского Правления с самим Александрсеном в центре. В позах, выражении лиц, в группировке—поразительное сходство. И серьезность, и мужественность и вдумчивость—те же самые.

Угол рта сам собою отвис у Александрсена, и глаза

его искали плеватьницу... пальцы разжались и вырвали фотографию. Он чувствовал, что совершилось нечто непоправимое, неисцелимое: он перестал бояться.

Ни робости больше, ни напряженного интереса, ни уважения, ни страстной тоски, ни страха, ни паники.

Окружавшие его гении лихорадочно готовились к завтрашнему «выступлению». И в них не было настоящей робости. Именно этого-то в них никогда и не было. Правда, они готовились завтра «явиться» на смотр во дворец и расшаркаться перед теми, над кем насмехались, кого презирали, но готовились потому лишь, что это было для них самих победой, торжеством, сулившим большие выгоды. В них не было робости, но был «аппетит к жизни», которого недоставало Александрсену. Этот аппетит и заставлял их смиряться перед властью имущими, которых они презирали, как личностей.

Александрсен ушел к себе в номер...

Вскоре прибежала разгоряченная, негодующая Торбина и сообщила академикам, что Александрсен собирается уехать домой.

Великое смятение, насмешливое изумление! Но, проникнув в номер Александрсена, они нашли его за иглой,—он зашивал замеченную им прореху на занавеси.

Милое привычное движение иглой было последнею слабою отрадой, удерживавшею его в жизни.

Его предупредили, что завтра ему придется говорить. Ему не зачем открывать рот.

Да ему достаточно раскрыть рот и сказать что угодно.

Ему незачем открывать рот.

Ну, хоть только подойти отрекомендоваться!

Он не обязан никому рекомендоваться.

Но он может извлечь из этого большие выгоды для себя...

Выгоднее всего для него будет, если его оставят в покое.

Но выйдет огромный скандал!..

Не его дело предотвращать скандалы.

Но ведь они, к сожалению, гости императрицы...

Он, к сожалению, гость на земле. И не императрица пригласила его быть этим гостем.

На том и уперся.

— Бог ты мой! — жаловалась потом княгиня: — Вот сумасшедший. Есть же все-таки вещи, которые должно уважать!..

НОЧЬЮ СРЕДИ ДУХОВ

Наступила ночь.

Хилое тело Александерсена было охвачено настоящей горячкой от пережитой сцены. Беспокойно ворочался он во сне, и около полуночи душа его или астральное тело, вырвавшись из нервничающего физического тела, вылетело в этот час сновидений и грез, сквозь замочную скважину номера 8-го в коридоре, где перед каждой дверью стояло по паре сапог или башмаков (между прочим, и огромные, как ведра, сапоги статского советника, и знаменитые остроносые башмаки Леона Ахиллеса рядом с элегантными польскими сапожками Мариорджии, на пуговках и высоких каблуках), оттуда же, через окно, взвилось над крышами.

Город спал. Лишь там и сям виднелся огонек в мансарде, где корпел над изучением тайных старинных писаний какой-нибудь пыливый ум, — в старину ведь все знали лучше, — лился яркий свет из комнаты роженицы или тускло светились окна заднего флигеля, где кучка спиритов вызывала духов, при свете красных ламп и звуках органа.

Духи витали над городом.

И Александерсен среди них. Это были спиритические духи или астральные тела; они вились над землей, высматривая случай родиться вновь.

Время от времени один из них падал стремглав, как чайка на воду, сквозь дымовую трубу, в дом, откуда слышались крики роженицы.

Александерсен налетел на одного старого стряпчего, умершего в День общего Переезда ¹⁾ и в самом разгаре тяжбы с одним переплетчиком. Стряпчий рассказал, что в прежних своих воплощениях был Нероном, а затем Наполеоном, так что ему предстоит загладить много своих грехов на земле, вот он и летает кругом, высматривая, не происходят ли где роды, чтобы получить возможность возродиться невинным младенцем.

У него уже были в виду роды—как раз в доме переплетчика. Таким образом, ему предстояло заполучить в отцы своего заклятого врага, но что же делать, бесприютному духу не приходится быть слишком разборчивым. Ведь духи тучами вьются над домами, где ожидается ребенок, и все дело в том—кто опередит других.

— За мною!—сказал стряпчий и увлек Александерсена через дымовую трубу в комнату роженицы.

Повивальная бабка уже пришла и сидела на краю постели. Беда только, что переплетчик сам был спирит и духовидец. Он моментально открыл присутствие своего

заклятого врага и принялся кричать:—Вон из моего дома! Вон! Вон!

Вся комната кишела духами, которые так и вились над постелью роженицы, настороживаясь всякий раз, как бабка приподымала одеяло.

— Вон! Вон!—кричал старый переплетчик, беспомощно беснуясь среди духов, которые не обращали решительно никакого внимания на грубые земные окрики разъяренного хозяина.

— Вон!—вопил он, бегая по кишевшей духами комнате, как в пропитанной цветным веществом атмосфере.

— Тут трудисься в поте лица своего, производишь детей и думаешь, что ты их отец,—оно так и есть, конечно!—и расчитываешь, что они унаследуют твои отцовские качества... И вдруг налетает целая туча бесприютных астральных тел, всяких там жуликов и бродяг, и все они норовят забраться в твоих детей!.. Не досмотри только, и заполучишь себе на шею какого-нибудь эдакого Коперника или Нерона или другого гения в отставке, которого придется тебе поить, кормить, одевать и на горшок сажать... Вон, говорят вам! Все, все вон!..

Разумеется, от его брани выходило мало толку. Но пока он бранился, ребенок родился. Отец кинулся наперерез стряпчему, а тем временем в ребенка, едва он высунул головку, влетела гильотинированная в 1789 году герцогиня.

С воим разочарования взвились духи в трубу и принялись за свое обычное ночное времяпрепровождение—летание над земными улицами и переулками, которые они

¹⁾ В Дании до последнего времени квартиры нанимались на полугодовой срок, и 1-е апреля и 1-ое октября являлись „днями общего переезда“,—т. е. днями, когда желавшие переменить квартиру обыкновенно и переезжали. (Примеч. перев.)

знали вдоль и поперек и от которых все никак не могли отвыкнуть.

Но усталая душа мирового странника Александерсена, которой бытие надоело и опротивело, воспарила над третьими и четвертыми этажами, над дымовыми трубами и принялась по вороньи кружиться около церковного шпица, вглядываясь в зеркально-светлое звездное небо. Оно казалось совсем близкою смежною странюю, расположенною немного выше самых высоких шпицев, и утопало в серебристом сиянии, храня вечные тайны своих говорящих чужими языками миров.

Там, наверху, была разгадка жизни, и дух Александерсена устремился туда. Сначала он взлетел на флюгер церковного шпица, оттуда же стрелой метнулся прямо ввысь... но вдруг полетел кувырком вниз, оглушенный, утраченный, и пришел в себя, уже лежа в водосточной канаве, как птица с перебитыми крыльями, взерошенный, помятый. Снова разлетелся он ввысь, и снова все слилось перед ним в черном мраке, а сам он стремглав полетел на землю.

Какой-то язвительный старый дух, отдохавший на вывеске булочника, втихомолку забавлялся его тщетными попытками взять небо приступом.

— Бросьте, коллега,—сказал он, наконец,—никогда вам туда не добратся.

— Но почему это так?—спросил Александерсен, запыхавшись.—Стоит мне подняться выше шпица, и передо мной встает вдруг сплошной мрак, и я как-будто слепо.

— Еще бы, на то вы дух, почтеннейший! Глаза-то ваши остались в постели,—сказал тот, хихикая.

— И не слышу ничего, поднявшись кверху...

— Ну да, и уши вы оставили на подушке!..

— Я ничего не чувствую, ничего не замечаю, не ощущаю, не владею собою, поднявшись выше шпица...

— Да ведь ваши органы восприятий лежат под одеялом,—то-есть, само собою разумеется, в вашей черепной коробке.

— Но как же тогда мы, двое духов, можем видеть и слышать все здесь, и думать, и чувствовать?—спросил Александерсен.—Тут какая-то чепуха!

— Именно, чепуха,—подтвердил старый насмешник.— Но я скажу вам кое-что: во всякой стране, где образование и культура и все такое процветали достаточно долго, накопилось всякого такого тысячелетнего хлама—вздору, лжи и притворства столько, что он подымается на три аршина высоты над самыми высокими колокольнями. В этой атмосфере мы родились, только в ней и можем существовать и дышать. Она является благоприятной средой для всяких духовных феноменов, для разных предчувствий, предугадываний, видений и предзнаменований. Но стоит нам подняться над нею—стоп! Там крышка. Только здесь в этой атмосфере променады духов и насиженные места привидений. Здесь все возможно: всякие предчувствия, предзнаменования, легенды, бредни. Здесь то и дело мелькают привидения и откровения, ангелы, мессии, семимильные сапоги, ковры-самолеты... Кишмя-кишат, как крысы в водосточной трубе, евангелия, чудеса, оракулы, кучки пророческой кофейной гущи...

Каждая линия у меня на ладони, каждая морщинка на ягодицах исполнена глубочайших загадок и тайн!..

Заря окаймила светлыми полосками вывески и перила; растерянно улетел дух Александерсена от стародушника и понесся в родной уличной атмосфере, столь дорогой барахтающимся на земле поколениям, что они и по смерти не в состоянии вырваться из нее.

Все прочие отлично копошились себе в этой атмосфере, как черви во внутренностях дохлой вороны; что же такое с ним, почему он один из всех, даже находясь в кругу величайших людей на свете и сам нося на челе венец славы, не мог найти себе покоя? Домой, домой хотелось ему, домой, на родину, в свой городок, к своему верстаку...

И он вихрем влетел в коридор и со свистом юркнул в замочную скважину комнаты... Чужая!? Вон оттуда, в другую замочную скважину... Опять чужая комната!.. В лихорадке испуга метнулся он в третью и случайно взглянул на постель... На подушке чернела голова...

Слишком хорошо знакомая голова! Чья? Черного апостола! Людоода! На ночном столике, рядом, лежала библия, а в ногах постели... Дух Александерсена так и завертелся кубарем от волнения: там лежал ковер-самолет! Пестрый, сказочный ковер-самолет! Черный бездельник прикрывал им свои черные ножницы! Александерсен схватился за ковер, но его пальцы были ведь духовными, ногти были духовными и прошли сквозь сукно. Но теперь он знал, где искать ковер—в № 20. Завтра

утром взвьется он высоко в воздух, полетит над морями и долами домой, в дорогой, мирный свой городок! Домой, домой, стать опять простым портным!..

Опьяненный радостью вылетел он из замочной скважины, понесся по коридорам и нашел, наконец, пустое спящее тело, юркнул и нето, и скоро его сладкие грезы о родине перешли в крепкий, блаженный сон.

ПОРТНОЙ

Играло пасхальное солнце, когда Александерсен на другое утро открыл глаза с радостным и твердым решением сегодня же сбросить с себя ярмо, порвать сеть глупых условностей, снова завладеть своим ковром и умчаться по поднебесью домой, к своему верстаку, положить конец этому затянувшемуся полному приключений странствию.

И вдруг, ощутил странный вкус во рту.

Вкус пива!?

Но он не брал в рот ни капли пива!

Вкус селедки!?

Но он не ел селедки!

А в голове у него стучало, как в кузнице.

Он сделал попытку встать и—еле мог поднять брюхо.

Испуганно провел он по нему руками... О, ужас! Что же это такое!?

Он лежал в постели одетый, в высоких грязных сапогах, и брюхо у него было толстое, раздутое... противно урчащая утроба!..

Да не может быть, чтобы это было его тело! Никогда!

Что-то неприятно защекотало у него под носом. Он схватился рукой за губу—черные закрученные усы, вонявшие старым табаком!

Да что же это за наваждение?! Александерсен вскочил из постели, холодея от страха... И, толстый, грузный, топая так, что половицы трещали, кинулся к окну.

Глубоко, глубоко внизу тянулась улица, разукрашенная флагами и гирляндами, залитая народом. Толпа глядела сверху, распевая на тысячу глоток пасхальный гимн... Сам же он сидел в узенькой каморке № 105 в 4-м этаже!..

Блестящие кареты с ливрейными лакеями подкатывали к гостинице. «Александерсен! Александерсен!»—неслись нестройные крики тысячной толпы. Матери подымали вверх своих малышей, чтобы они когда-нибудь на старости лет могли похвалиться, что своими глазами видели великого человека.

Тяжело дыша и охая, Александерсен высунул голову из окна и—увидел...

На балкон, улыбаясь, раскланиваясь, разговаривая между собой, выходили один за другим все знаменитости: статский советник, Мельба, Тюрко, Уриан, Куриан, княгиня Катт, Мариорджия и Леон Ахиллес. Затем загремело ура, замахали платками, загрохотали пушечные салюты и... появился (сердце у Александерсена так и заколотилось, он захлебывался)... появился он сам—бледный, худой, долговязый, ведомый под руки с одной стороны Торбиной, с другой (о, безмерная, бездонная наглость!) самым черным апостолом. Людсед, раскланиваясь и улыбаясь, подошел с ним к самым перилам балкона и

стал главной сенсацией дня—черный, волосатый, жирный, лоснящийся, с властной скромностью склоняющийся над морем людским.

Вновь и вновь гремели раскаты ура по направлению к балкону, вмещавшему зараз столько бессмертной славы, столько человеческого величия: Тюрко, сам Тюрко, рядом с ненавистным и обожаемым Мельба, Мариорджия об руку с самим Леоном Ахиллесом... и негр, которого никто не знал, но который пожал свою долю народных восторгов. Какая пестрая компания, какие резкие контрасты и знаменитости были собраны здесь этим невзрачным, бледным и жалким провинциальным портным!.. Его подтолкнули к самым перилам балкона, и этот замечательный человек раскланивался с пугливой неловкостью простолюдина во всех движениях и минах... раскланивался на все стороны, а более предприимчивая родня Торбины, вдруг вынырнувшая откуда-то, протеснилась вперед всех знаменитостей и тоже принялась раскланиваться и посылать приветствия руками.

И все это Александерсену приходилось видеть собственными глазами. Отдуваясь, потея от страха, стоял он и смотрел... Да что же, с ума он сходит?!

Он подбежал к зеркалу и остолбенел: на него глазела оттуда распухшая, красная, тупая и жирная физиономия.

Он опрометью выбежал из комнаты, вихрем слетел с лестниц всех четырех этажей, выскочил на улицу и замешался в толпу, протискиваясь вперед... Радостные крики толпы переходили в настоящее ликование, когда мимо катила та или другая карета с величайшими, зна-

менитейшими героями человечества. Сыпались цветы, капали слезы, взвивались в воздух палки и шляпы. Александерсен, весь в холодном поту, вытянувшись на цыпочках и увидев одного за другим всех едущих в этих блестящих каретах.

Ликование дошло до высшей точки кипения, когда показалась карета самого Александерсена. Бледный, растерянный, ехал он вместе с Торбиной и... с черным апостолом.

— Но ведь это же я, это я сам!—стонал велед карете Александерсен, смиренно стоявший в толпе.—Ведь это же я!—повторил он и лишился чувств.

Через час он очнулся на скамье в городском сквере. С улиц доносились приветственные клики толпы, переходившие в настоящее беснование, когда толпе удавалось узреть жест того или другого героя, нос героя, султан шляпы героя, или хоть зад героя.

Александерсен лежал в полной меланхолии, ломая себе голову над разрешением загадки, как вдруг его осенило, и вся эта печальная история стала ему ясна: дух его попал ночью не в свое тело. Побывав среди духов и с визитом у черного апостола, он, должно быть, заблудился в коридорах гостиницы, забрался в четвертый этаж, юркнул в чужую замочную скважину, в чужую комнату и в случайно свободное тело ее постояльца, лежавшее в постели... А проснулся уже довольно поздно утром, слишком поздно, чтобы исправить свою ужасную ошибку.

Кровь била ему в голову.

Кровь другого человека.
Ноги под ним подкашивались.
Ноги другого человека.
Он судорожно сплюнул.
Сплюну другого человека.
Он жалобно застонал...
Голосом другого человека.

И кто же был этот другой? Александерсен лихорадочно обшарил чужие карманы. Нашел вещи, о которых неудобно говорить... и... Нет, что же это за наваждение?! Нашел открытое письмо с видом своего родного города! Своего собственного портновского домика! А под картинкой было напечатано: «Старый домик Александерсена». Он прочел адрес на открытке, обуреваемый самыми странными чувствами. Она была адресована его старинному недругу, сапожнику, Танцору. Александерсен посмотрел на свои новые руки, на свои новые ноги—сомнения нет, дух его угодил в тело сапожника! Он взглянул на свое правое запястье,—у сапожника оно было татуировано... Верно! Дама со змеей, красный с синим рисунок был на лицо!

Он прочел письмо: *«Милый сапожник, кланяйся Александерсену от всех нас, и от меня тоже, и скажи, что его встретят с подобающим почётом, когда он вернется домой. Спроси его—помнит ли он своего старого приятеля и собрата—Горбуна».*

Его охватил дикий, дикий ужас. Он фыркал от омерзения. Ему был противен каждый глоток воздуха, вдыхаемый этой скверной падалью, Танцором! Неужто он примирится с таким унижением, будет мотаться по белу

свету сапожником, Танцором, собутыльником Горбуна, после того, как был славой и гордостью миллионов людей?! Чу! Опять ликование. Какой же это мошенник сбегал с его телом, воспользовался его именем, его славой и раз'езжает теперь в обществе негра, компрометируя себя?!. Александерсен пылал до корней волос. Нет, он хочет вернуть себе свое тело. Это его тело. Подайте ему его тело... последнюю его зацепочку в этом мире случайностей.

САПОЖНИК

Трагедии человеческие,—говорит княгиня Катт,—делятся на две категории: трагедии людей, слишком много бравших от жизни, и трагедии людей, бравших от нее слишком мало.

Если Александерсен принадлежал к последним, то сапожник—к первым.

И он, и Александерсен росли мальчишками в одном переулке; между ними было всего десять лет разницы. Но Александерсен от жизни уличного мальчишки сразу перешел в каморку портного, на постный стол, и от задора уличного мальчишки сохранил лишь ту духовную независимость, серьезным выражением которой явился его знаменитый девиз: «Я гость на земле». Сапожник, напротив, вырос себе, припеваючи, крепышом и живчиком, баловнем девушек и женщин. Его ум далеко не выдерживал сравнения с его жадным к жизни, кипевшим страстями телом; он был натурой примитивно крупной и широкой. Другие ели одно блюдо, ему подавай два; другие выпивали одну бутылку, ему подавай две; другие довольствовались одной возлюбленной, ему непременно надо

было показать, что он справится и с пятью зараз. Обыватели городка не переставали, поэтому, надеяться, что из него выйдет нечто крупное, тем более, что он никогда не дразнил никого особыми мнениями,—у него вообще не было никаких мнений,—и вот, ему легко удалось достичь первой же поставленной его честолюбием цели, а именно скосырнуть Александерсена со всей его славой.

Но когда Александерсен исчез с горизонта и сапожнику пришлось показать себя на деле, он с изумлением открыл, что не знает даже, за что в сущности взяться. И с ужасом убедился, что собственные его ресурсы были исчерпаны: его почки и мозг, его желудок и поясница, его сердце и легкие—все пострадало, все болело. Его красивое тело стало тряпичным, дряблым, чувства выдохлись, замутились, его задорный юмор сменился ворчливостью, брюзжанием.

Одновременно до городка стали доходить из далеких краев слухи об Александерсене, об его мировой славе. Тогда сапожник окончательно ослаб духом и телом и уж ровно ничего не понимал больше—ни в себе самом, ни вокруг себя. Он, как и многие другие, дошел, как говорится, до точки, разбил себе лоб о темные стены своего разума.

Он притих, остепенился и—сдался. Спина его сгорбилась, глаза смотрели растерянно, плечи опустились, щеки обвисли. Он отцвел в какие-нибудь полгода. И когда в городок пришла весть о предстоящем прибытии Александерсена в столицу и о почестях, ожидавших его там, сапожник охотно принял на себя миссию—отправиться

за море и поднести своему знаменитому земляку поздравления и адрес от сограждан.

Он переправился за море. Занял за счет городской общины мансардный номер 105-й в той же гостинице, где проживал Александерсен, присутствовал при торжественном въезде Александерсена в столицу и с трепетом ожидал дня, когда предстанет пред очи своего бывшего противника.

Чтобы подбодриться, он решил кутнуть ночью. В своем захолустье он был избалованным кутилой, сверхчеловеком, идеалом старых дев и зеленой молодежи; здесь же, в столице чувствовал себя ничтожным, неотесанным, неуверенным, а потому рисковал заходить лишь в увеселительные места самого низшего разбора. Домой вернулся с пустым кошельком, расслабленный, хмельной; не раздеваясь, бросился на кровать и захрапел.

В 7 час. утра сапожник проснулся, чувствуя себя легким, как перышко, на диво бодрым и свежим после ночных походов... Проснулся от звуков духового оркестра под своими окнами, от настоящей утренней серенады. Так рано он давно уже не просыпался в своей жизни.

Но, что бы это значило?..

Воздух был напоен ароматом цветов, расставленных по столам и стульям. На одеяле лежала груда телеграмм.

Он полежал еще в раздумье.

Потянулся, почесал себе живот...

Живота не оказалось!

Хотел погладить усы...

Их не оказалось!..

На подбородке он ощущал только реденькую мочалку, совсем ему незнакомую.

Обрили его что ли собутыльники, да наклеили эту бо-роденку?

Он спрыгнул с кровати и увидел—о, ужас!—что руки у него, как плети, живота совсем нет, а ростом он чуть не в три аршина!

Господи помилуй!..—Он в бешенстве швырял одежду, рвал на себе волосы, подбегал к зеркалу, смотрелся, впи-вался в него взглядом... и... убеждался, что он—Александерсен! Но это же безумие! Мания величия!

Бедный сапожник не был особенно высоко просвещенным человеком. В школе он получал высшие баллы за гимнастику, а по закону божьему средние и с самой конфирмации никогда уже не интересовался духовной или психической стороной бытия. Где же было ему понять, что он ночью поменялся телом с Александерсеном?

Вернувшись с кутежа полу пьяным, он завалился на постель и забылся тяжелым сном. Бессмертный (но не особенно развитой) дух его почувствовал себя так неприятно в своей икающей и отрывающей телесной оболочке, что вылетел на заре проветриться, а, вернувшись, ослабевший и отуманенный, шмыгнул нечаянно в замочную скважину № 8, т. е. комнаты Александерсена. Дух Александерсена, вскоре затем вернувшийся из своего полета, нашел свое собственное тело занятым, подумал, что ошибся комнатой, начал метаться по разным помещениям и везде находил тела спящих занятыми, пока наконец,

растерянный и полный тоски, не наткнулся на свободное тело сапожника в мансардном номере, где и успокоился.

Но все это было абракадаброй для бедного сапожника, который бешенно метался по комнате, думая, что сошел с ума.

Он выл по-собачьи, кидался на постель, тискал и мямлю свою голову руками, вылил себе на темя целый графин холодной воды, искал глазами—нет ли где еще второго... Стучал себя кулаком по лбу, осыпал свои новые щеки градом пощечин.

Дверь отворилась. Ворвалась компания полоумных людей, которые называли его Александерсеном, поздравляли, пожимали ему руки, напялили на него одежду и вытащили на балкон, откуда он одурело таращился на рвущую, машущую платками толпу внизу.

Злополучный сапожник был до мозга костей своих рядовым средним человеком, и все нутро в нем переворачивалось от такой выставки его напоказ.

Как пьяный, позволял он водить себя туда и сюда, целовать и поздравлять. У него раньше бывали припадки белой горячки, когда ему мерещились зеленые змеи. Вот и теперь, должно быть, у него сделалась белая горячка! Сразу она не проходит, надобно время. Поэтому он покорялся всему с ангельским терпением.

Какой-то негр обнимал его, его таскали по лестницам то вверх, то вниз, возили в карете, представляли королям и королевам, осыпали комплиментами и ласками, обкормили, напоили и под вечер приволокли домой, уложили в постель, дали кашель микстуры, обложили компрессами

и припарками. С горлом, обмотанным шерстяным шарфом, с кислым тестом на подошвах и с припаркой из горячего деревянного масла на животе, лежал он затем и терпеливо ждал—когда же кончится припадок, время от времени робко облизывая голую верхнюю губу или боязливо щупая диковинную мочалку на подбородке.

Но тут дверь отворилась, и вошла Торбина, старая пассия сапожника, собственной персоной, с лампой в руках, и в сопровождении целой оравы родственников (поистине жестокий был у него припадок!). Торбина рвала и метала. Нашел время валяться в постели, напускать на себя хворь! Запираться и упускать все из рук! Теперь то как раз и надо было пожинать плоды достигнутого им почета и влияния! Довольно уж они сносили его причуды! Им нужны деньги, ссуды, должности, назначения! Дождутся они чего-нибудь? Получат ответ?!

Сапожник думал, что припадок достиг своего апогея и притих, как мышь.

Тогда Торбина, хватив кулаком по столу, вытащила его из постели и окатила водой.

Сапожник в ужасе взвыл. Такой горячки у него еще никогда не было! Волосы встали у него дыбом, он схватил палку и выгнал всю семейку за дверь. Затем принялся бегать по комнате, опрокидывая стулья, дубася по столам... Наконец, выдвинув ящик, нашел там веревку, сделал петлю и повесился на ламповом крюке.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД СУДЬБЫ

Как только настало время ложиться спать, Александерсен поторопился вернуться в свою мансарду, старательно заперся,—так однако, чтобы замочная скважина осталась свободной, улегся в постель и постарался поскорее заснуть, после чего его дух опять покинул тело, пролез в замочную скважину и понесся по лестницам и коридорам, страстно спеша найти свое настоящее тело и вновь вернуть его себе.

Он нашел № 8, свою прежнюю комнату, проник туда, осмотрелся и—увидел свое тело... висящим на ламповом крюке.

Как одурелая кошка, метался бесприютный дух Александерсена по городу, по улицам и переулкам.

Полицейские стояли на углах, застегивая на себе плотные мундиры. Чего им было не застегиваться! У них были тела!

У него тела не было! Никакого тела! Никакого!

Звезды ярко сияли. Увы! Холодным, ледяным блеском. И что все их великолепие для бесприютного духа, у которого нет физического тела!

Однако, у него была эта мерзкая туша, сапожник, храпевший там на всю мансарду.

Но, нет!.. Никогда!.. Ни за что!

Дух Александерсена готов был взвыть от омерзения при одной мысли о том, что ему опять придется заползти в тело этого ничтожного человека, в это чужое, горячее нутро, есть чужим ртом, смаковать чужим языком, смачивать еду чужой слюной!

Лучше умереть!

Он ведь прожил беспримерно богатую впечатлениями, славную жизнь и умер в зените своей славы! Чего же ему еще нужно? Чего не хватает? Что за таинственная ненасытная тоска приковывает его к этой жизни, которую он, однако, презирает?..

Он остановился около статуи, торчавшей на площади, как Петрушка, черным, высоким силуэтом под звездным небом.

Такую же статую воздвигнут и ему, Александерсену. Вот так же и он будет торчать, черный, холодный, под звездным небом.

Его так затрясло, что он потерял всякое соображение.

Два старых безвестных извозчика беседовали около решетки статуи. Они были живые, теплые. И дух Александерсена жался к ним поближе, чтобы согреться их теплом.

Но вдруг он сообразил: «Ночь проходит, звезды блед-

неют. Скоро наступит день, и ты останешься без тела. Куда ты денешься? Покинешь этот мир, уютный, живой мир, где ты знаешь название каждого шва на куртке, значение каждого движения руки?..

Дико понесся он в страхе за свою жизнь, стал летать по лестницам и коридорам, соваться во все двери в поисках свободного тела, куда бы забраться. Увы! Все души были на своих местах, в телах, лежавших, как восковые фигуры, лишь время от времени тихо шевелясь во сне или тяжело поворачиваясь на другой бок.

.. Наконец... наконец он нашел чего искал—свободное тело, тело недавно обрученного молодого человека, дух которого витал в эту ночь около дома его невесты.

Вот оно, вот оно!

Вот где жизнь и горячая кровь!

Дух Александерсена затрепетал от волнения. Ну?..

Осмелиться ли ему заползти в эту теплую постель, войти в это цветущее юное тело, начать новую, лучшую жизнь здоровым и полным сил?

Нет, он не осмелился. Не смел. Не мог... и не хотел!

Молодая душа останется бесприютной, если Александерсен завладеет ее телом. И сам он будет всю жизнь мучиться угрызениями совести за свой грабеж.

В то же мгновение дух молодого жениха вернулся домой, пронесся мимо носа Александерсена, вошел в свое тело, которое перевернулось с глубоким, блаженным вздохом на другой бок и продолжало себе спать.

Кончено... кончено!

Рассвет пробирался в комнату. Приближалась решительная минута. Кругом, в каменных громадах домов начинался звон будильников.

Александерсен встрепенулся. Нет, он не в силах расстаться с жизнью. Скоро все эти неподвижные тела начнут вставать с постелей, протирая глаза для нового теплого дня... И он стрелой понесся по улицам в свою гостиницу, по лестницам, в каморку сапожника.

Уф!.. Нет! Нет!

Вот оно, большое, разбухшее, потное тело... Как тяжело и беспокойно сопит оно. Но сердце бьется; пульс бьется, пальцы тихо шевелятся.

Рассветало. Прогромыхала телега.

И вдруг, в душе Александерсена поднялась грустная нежность к этому простодушно исковерканному, жестоко искалеченному телу, некогда бывшему молодым и прекрасным, а теперь—такому отталкивающему и жалкому. Его, бесприютного бедняка, охватило какое-то странное желание, чисто материнское желание, как-нибудь спасти, исправить это запущенное создание... охватила глубокая мужская скорбь при виде зря пропадающих богатых возможностей.

Он поглядел на мокрые от сонного пота волосы, на нечистые, храпящие ноздри, на жирные спонявые отвислые углы губ...

...и разом...

преодолев в себе всякую брезгливость, всякое внутреннее сопротивление, скользнул в это теплое тело, принял его в свое владение.

И вот, спокойная улыбка, какой никогда не знал

сапожник, тронула обрюзглые щеки, массивное лицо медленно открыло глаза и взглянуло... грустным... печальным взглядом...

Совсем рассвело. Ночные кошмары исчезли. Александерсен лежал на постели в новом своем телесном образе, встречая день, новый день... лежал никому неведомый, одинокий, низведенный с высот, страждущий, сопящий... печальный... без всяких видов на будущее, но... живой!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Как хитроумная машина, только что смазанная и где надо отполированная, где надо выкрашенная суриком, быстро портится в неумелых руках невежды, изнашивается раньше времени и наконец останавливается совсем, так некогда свежее и гибкое тело сапожника было самым жалким образом изуродовано его непутевой душой, бессильной праздностью и нелепыми кутежами.

Но когда испорченная машина попадает в руки знающего механика, тот тщательно исследует все ее части, пополняет недостающие, испытывает ненадежные, выпрямляет погнувшиеся, счищает ржавчину, и вдруг, словно чудом, колеса начинают вертеться, поршни двигаться, и вся машина становится, как новая. То же произошло, когда истрепанное, дряблое тело сапожника поступило во владение деликатной, но зрелой и мудрой души Александерсена.

Александерсен в глубине души действительно чувствовал себя гостем на земле, отнюдь не неразрывно связанным с каким-либо определенным лицом, мнением, привычками.

В то же время ему при его человеколюбии и альтруизме, всегда скорее бросалось в глаза глубокое сходство людей, нежели глубокое различие. Оттого-то он, между прочим, с бесцеремонным добродушием простого человека так быстро осваивался среди совсем чужих людей, как и подобает чуткому гостю, и всегда умел соблюсти замечательное равновесие в общении как с умнейшими, так и с простодушнейшими.

Поэтому и теперь, внезапно выскочив из старой своей оболочки и попав в новую, он поразительно быстро припробовался к новым условиям существования и, словно по мановению волшебного жезла, утратил всякий интерес к прошлой своей судьбе, интересовался ею не больше, чем бежавшей собакой.

Спокойно углублялся он в туманы смерти, на берегу реки Смерти, чувствуя, как постепенно вытягивает и обволакивает его сладкий, блаженный покой.

Но теперь солнце жизни играло на обоях и световыми фанфарами звало его к жизни. И даже то обстоятельство, что он утратил все свое прошлое, обстановку, славу, имя, даже собственную физиономию, одежду и тело, как-то странно освобождало, облегчало его; с него как будто свалился кошмар.

Три страстных желания волновали его теперь и звали к жизни: во-первых, желание вернуться в родной город, вырваться из этого запутанного, сложного разнообразия мира, назад в старые, тихие места, где он знал все и всех, а сам мог теперь разгуливать неузнанным никем, освобожденным от своего прошлого, от всех его ошибок и заблуждений.

Во-вторых, желание вернуть себе ковер, чтобы улететь на нем туда, прочь из этого скучного, крикливого «мирового центра». О! сесть на это зыблущееся сукно и свободно воспарить над всем этим миром с его поблекшею, истощенною червями славой!.. Ковер лежит там, в № 20-м, у людоеда... Скоро в № 8-м найдут мертвое тело портного. То-то подымется суматоха! Как все перепугаются, будут стараться замять скандал!..

Александрсен лежал себе в своей новой телесной оболочке и посмеивался. Слава богу! Никто и не догадается об истинной сути дела! Никто и не заподозрит его. Напротив! Негр перестанет теперь так зорко стеречь свой ковер. И уж меньше всего будет опасаться чего-либо со стороны мирного сапожника.

В третьих, страстное желание познакомиться со своим новым телом, изучить его, испытать, каково жить чужим телом и много ли можно извлечь из развалин некогда цветущего сапожникова тела, которому Александрсен, еще учеником-портнишкой, сидя на окне, так завидовал, и которым теперь на старости лет завладел—после того, как оно было столь печально исковеркано почти до неузнаваемости.

С совершенно свежей головой, уселся он на постели и приступил к основательному обследованию искалеченного тела своего старого соперника. Живот, богато татуированный, но раздутый, словно туго набитая колбасная кишка...

Увы! Все тело было просто на просто испорчено, изуродовано, исковеркано... Тут было слишком много, там

слишком мало... Тут было размягчение, там загрязнение... но в общем все-таки при известной, строго проводимой системе можно было создать весьма хорошее тело из этих руин.

Ободренный, оживленный новым интересом, вскочил он с постели и немедленно принялся за дело самоомоложения посредством холодных и горячих душей, неустанных прогулок и пробежек по окрестностям столицы и по окружающим ее уединенным лесам. Каждое утро ходил он пилить дрова к старой вдове, живущей в лесной сторожке. Кроме того, он постился, доводя обседавшееся прежде чрево до бенюнного урчания, а пилить и рубил изо всей мочи так, что избалованные нервы и мускулы сапожника ныли от жалости к самим себе.

Первые дни он с трудом подымался с восходом солнца. Затем уже постоянно насвистывал взапуски с первыми утренними птицами, прыгая, выделявая разные па, размахивая палкой... словом, предельная вещь, которые были ему совершенно не по плечу в его прежнем существовании старого холостяка.

И это открытие наполняло его каким-то девически-целомудренным оныанием. Он просыпался по утрам и почти не узнавал себя самого, так полон он был страстных желаний и радости жизни.

Да, как с наступлением весны пробуждаются все скрытые растительные силы земли, так просыпались в обновленном теле Александерсена мириады радостных соков и веселых влечений, о существовании которых он и не подозревал раньше и которые в конце концов сконцентрировались совершенно непонятным образом... в посто-

янную тоску... странную, тревожную, страстную тоску желания, предметом которой была... Торбина!

Да, Торбина! Милая, старая Торбина! Как-то она перенесла все это? Не надюмилась ли брошенная одна в этом огромном городе? Какая она в сущности была здоровая! и красивая... и упорная... и храбрая! Самая недалекость ее... была так привлекательна своей прямолинейностью! А все эти ее непогрешимые изречения и сентенции—как они в сущности были старомодно милы, витиевато-забавны!.. Ему веюминалась то одна черточка ее характера и поведения, то другая... целая масса таких, которые прежде он замечал лишь мельком, а теперь все они вдруг выступили так ярко из мрака забвения и в совокупности составили совсем новое целое, образ совсем новой Торбины: здоровой, сильной деревенской девушки, с золотой сердцевинкой, неподдающейся никаким разъедающим влияниям, с непогрешимым чутьем правоты; с отвращением к распутству и грязи, но искоренной, прокисшей за эти годы ненормальной жизни бок о бок со старым брюзгой-холостяком... Доведенной в конце концов до такого духовного убожества, что ее мог покорить этот старый, наглый, черный хвостун, этот негр, который вдобавок когда-то чуть-чуть не съел ее.

Новое сердце Александерсена ныло и сжималось от раскаяния и сожаления. Наконец, однажды после обеда—было это уже на пятый день—он бросил пилку дров у лесной сторожки и побегал домой, чтобы хоть мельком взглянуть на нее. Долго расхаживал он под ее окошкми—напрасно!.. Тогда он прошел по длинным коридорам

и лестницам гостиницы и стал прислушиваться у дверей ее номера. Тсс! Там раздавались голоса!

Голос чернокожего! Он был у нее! Как нежно уговаривал он ее!

Александрсен яростно открыл рот. И вдруг, у него мелькнуло в уме: «Номер 20!.. Он верно незаперт!..» — И бросился туда.

Верно!

Дверь оказалась отворенной, но перед нею в ожидании расхаживала дама в черном — Мариорджия!..

Настало послеобеденное время следующего дня. Александрсен³⁰ без усталости бегал по городу. Слушал вдали военную музыку. Все улицы были разубраны по траурному. Бог ты мой! Должно быть, сегодня погребение! Хоронят его старое³¹ тело.

Он пошел навстречу погребальной процессии. Улицы были запружены благочестиво настроенным народом. Все только и повторяли, что они «гости в персти».

Впереди шли музыканты, затем несли бесчисленные знамена и наконец гроб с «гостем в персти» на носилках, усыпанных цветами. Тишина стояла мертвая, нарушаемая только звуками духового оркестра. Они объединяли все эти тысячи зевачей общей скорбью по человеку, которого они никогда не знали.

За гробом ехала в экипаже Торбина. Она плакала, так как все кругом плакали, а все кругом плакали, потому что она плакала. Рядом с нею сидел негр, держа ее за руку; по другую ее руку сидела Мариорджия, гордая и бледная, как дивная мраморная статуя.

Затем следовали экипажи с прочими знаменитостями. Скоро весь кортеж исчез за воротами кладбища.

Александрсен стоял в толпе, с каким то странным чувством, прислушиваясь к удаляющимся фанфарам.

— Леон, Леон говорит! — передавалось из уст в уста. — Леон Ахиллес говорит над гробом! Сам Леон! Сам Леон!

— А теперь негр! Теперь негр! — жужжало в ушах Александрсена. Толпа так и напирала вперед, желая послушать, что может сказать негр.

В уме Александрсена молнией сверкнуло: Ковер! Вот самый подходящий момент! Он протиснулся сквозь толпу и побежал по пустынным улицам домой, в гостиницу. Все номера были пусты, все двери открыты. Без помехи вошел он в № 20-й, приподнял одеяло в ногах постели негра... Ковер, ковер, его собственный чудесный ковер! «Пусть себе негр ораторствует над моим гробом... Пока он там говорит и воображает, что избавился от меня, — я вот стою тут и беру свой ковер назад!»

Он пошел к себе в номер и, сняв пиджак и жилет, обмотался ковром, затем снова оделся. Ничто теперь не разлучит его больше с ковром, с его чудесным волшебным ковром. Скоро, скоро он понесет его домой, высоко-высоко над всеми людьми, домой, в его тихий уголок, к новой жизни... и рядом с ним будет Торбина.

ДЕНЬ СКОРБИ

После похорон был устроен грандиозный поминальный пир в ресторане гостиницы.

Сапожник стоял на площадке лестницы и прислушивался; всякий раз, как дверь в залу отворялась, до него доносился гул голосов. Пирующие осушали стаканы, провозглашали тосты; слуги обносили гостей; клубился сигарный дым, сверкали брильянты; опрокидывались стулья.

Раздалось шиканье, встал Леон Ахиллес и начал свою импровизацию:

Как годы и дни скоротечны!...

— Эй, кельнер! Вина в кубках нет!—
«Гость в персти» в селениях вечных,
и прах заметет его след!..

Дверь отворилась, и Александерсен мельком увидел негра. Он был там! Его приняли в компанию великих людей. И он под шумок чокался с самой Мариорджией!..

Минута наступила. Александерсен поспешил постучаться в дверь Торбины.

Торбина рано ушла с пира. Ей не под силу стало смотреть, как негр подезжает к Мариорджии, а та явно кокетничает с чернокожим.

Негр, сам недавно овдовевший, сразу после неожиданной смерти Александерсена остановил свое благосклонное внимание на «вдове» усопшего вожда, и Торбина, уже отнюдь не претендуя на негра за то, что он когда-то чуть не сел ее, совсем пленилась чернокожим. Одно лишь смущало пожилую девицу—явное заигрывание Мариорджии... Да, да, во всяком случае, Торбина не была слепа!..

Она сидела в большом волнении и в слезах, когда в дверь постучали. Ага! Это он!.. Но вошел... сапожник, «Танцор», ее старый поклонник! Ну, пошли теперь все бегать за нею!.. И этот нахал туда же! Что он воображает о себе? Какой-то провинциальный сапожник!..

Александерсену долго не удавалось вставить ни слова, и наконец он просто закричал:—Ты должна! Должна!.. Идем! Ковер у меня! Ковер! Идем, пока нас никто не видал!—И он хотел утащить Торбину.

— Помогите! Помогите!—завизжала Торбина. Дверь распахнулась, и вошел черный людоед, возбужденный, массивный, богатырски-могучий.

Его ухаживание за Мариорджией бросилось таки в глаза компании. Мариорджия сначала сидела с Леоном. Но недолго и пересела на колени к знаменитому народному оратору. Не засиделась и у него, а перешла в объятия одного старого знатного обожателя своего и, наконец, бросила якорь возле негра, готовая взять на бордаж и его.

Тут в дело вмешался изрядно выпивший Уриан.

Гениальный мыслитель с гуттаперчевым лицом зарабатывал в молодости кусок хлеба в качестве циркового клоуна и признал в негре старого товарища, который после побега с каторги занял в цирке амплуа негра-комика, а после одной любовной истории сделался самостоятельным боксером, сколотил капитал, купил у себя на родине постоялый двор и, наконец, после многолетней деятельности пастыря общины стяжал себе всемирную славу великого проповедника.

Разыгрался скандал. Богатырски-могучий негр взбесился от ярости, но ему пригрозили полицией, и он предпочел удалиться из залы с намерением поскорее улететь на своем волшебном ковре.

Явная склонность к нему Мариорджии спутала было в последние дни его первоначальные планы. Новый внезапный поворот в ходе вещей, однако, заставил его опять вернуться к решению закрепить за собой Торбину.

Дело было к спеху, и вино еще не успело обсохнуть у него на губах, когда он явился к Торбине—как раз вовремя: какой-то незнакомец собирался похитить ее!

— Ковер! Ковер!—вопила Торбина.—Ковер у него!..

Чернокожий вздрогнул. Но Александерсен в одно мгновение очутился за дверью и вихрем взлетел на лестницу, чуя за собой погоню, потом на другую... вскочил в свой номер 105, задыхаясь замкнул дверь, сбросил с себя пиджак и жилетку, и начал разматывать с себя ковер. Нет, во второй раз негру уж не удастся завладеть его ковром!..

После бегства негра настроение в зале повысилось до крайних пределов. Но Мариорджия встала, сверкая глазами, пылая гневом: Что? Негр недостаточно хорош?.. Как? Она ведет себя неприлично? Она—Мариорджия! А все другие—просто глина и мусор!

В конце концов, она вскочила на стол и принялась сбрасывать с себя одну принадлежность костюма за другой... Дивно прекрасная стояла она в своей вызывающей наготы, под бурные рукоплескания увенчанных цветами вакхантов...

Негр бурей пролетел лестницу и побывал у себя в № 20-м. Ковра не оказалось. Скорей, скорей на самый верх! В погоню за тем неизвестным, только что хлопнувшим там наверху дверью!

Тут распахнулась дверь залы, и вышла гордой поступью королевы пылающая, опьяненная и обнаженная Мариорджия, влача за собой длинный газовый шарф.

— Забегите вперед!.. Бегите!.. Загородите выходы на лестницу!..—кричали академики, кто со смехом, кто с испугом, выбегая за нею в двери.

— Я иду, куда хочу, и одеваюсь, как хочу! Ибо я—«гость в персти!»—бросила она назад громко, дрожащим от гнева голосом, и выскользнула из леса протянутых к ней рук.

Но негру некогда было даже приостановиться при виде столь необыкновенного зрелища. Проложив себе путь сквозь толпу, он в несколько прыжков очутился в четвертом этаже.

Мариорджия остановилась, глядя ему вслед...

Александрсен, запершись у себя в мансарде, едва успел сбросить с себя платье и освободиться от ковра, как ручку двери затрясли с такой яростью и силой, что планки затрещали, и с притолки посыпалась штукатурка.

Александрсен быстро накиннул на себя одежду, распахнул окно, расстелил ковер на подоконнике и вскочил сам на ковер.

Дверь слетела с петель под богатырским напором негра, но в то же мгновение Александрсен крикнул: —Лети, лоскуток!..

И вихрем понесся над улицами и крышами, над скучной суетой будничной жизни... Скоро он исчез в золотистом тумане, стоя на своем ковре и застегивая на себе пиджак, уносясь по направлению к лесу, окутанному черней мглой...

Там он опустился и переночевал в гостеприимной лесной сторожке.

С пеной у рта от злобы и огорчения стоял на подоконнике негр, грозя вслед улетавшему.

А в редакциях газет началась ночная работа. И все редактора и сотрудники сговорились сообщить в угоду читателям лишь торжественные и трагические моменты похорон Александрсена... распространиться о хватающем за душу пении Мариорджии над гробом... поминки же затронуть лишь мимоходом, посвятив им одну-две скромные строки.

Но последняя гениальная выходка Мариорджии звала взрывы хохота. Гениальная женщина! Восхитительная в своей эксцентричности!.. И все-то к ней идет! Она может позволить себе, что угодно!.. Перья скрипели о похоронах Александрсена, а языки смаковали похождения Мариорджии.

В ту же ночь, около трех часов—после бесплодных трехчасовых стараний успокоиться и заснуть,—Мариорджия пошла к чернокожему апостолу.

С ним и осталась.

РАЗРЫВ

В немое изумление... в настоящий столбняк повергло академиков на следующее утро, за завтраком, сообщение смертельно бледной княгини, передавшей со слов хозяина гостиницы невероятную, непонятную весть, что Мариорджия рано утром отбыла из гостиницы и из города вместе с чернокожим проповедником—неизвестно куда.

Озадаченность разрешилась веселым смехом над этой новой эксцентричной причудой.

Но смех скоро сменился брезгливостью... Как она могла прийти до этого?!

Брезгливость, в свою очередь, перешла в серьезную озабоченность при мысли о том, как отнесется к этой выходке публика. Этот скандальный шаг был бесповоротным, на этот раз Мариорджия погубила свою карьеру окончательно. Назад дороги ей уже нет.

Затем серьезно-деловое настроение уступило место огорчению. Они ведь лишились Мариорджии навсегда, она была потеряна для них навеки.

И, наконец, огорчение разрешилось гневом на Ма-

риорджию за то, что она—нежнейший цветок цивилизации, могла изменить им всем ради такого бродяги и плебея, как этот негр-проповедник!

А Мариорджия в это время мчалась в курьерском поезде, с вызывающим видом закусив губу и вложив свою беленькую ручку в черные широкие лапицы своего негра.

Вот она поднялась. Стройная, гордая, встала у окна купе и устремила взгляд в быстро мчавшийся мимо, словно подхваченный безумным вихрем, мир.

Она была родом из пиэтической семьи корзинщика, и с ранней юности ее брызжущий жизнью гений развивался судорожными взрывами внутренней закупоренной жажды жизни; вместе с тем, ее холодный, насмешливый и наблюдательный ум восстанавливал ее против окружавшей ее богомольной среды.

Строгий взгляд на жизнь, внушенный ей с детства, однако, остался в самой своей сущности неповрежденным, когда она ярким метеором вылетела в свободную стихию искателей счастья.

Со спокойной совестью хорошего здоровья ее взбалмошное миниатюрное тело наслаждалось своей цветущей буйной весной... Но мало по малу буйство утихало, и ее холодная наблюдательность обращалась против новой окружавшей ее среды.

Гордая и пиэтически-упрямая, она чувствовала себя униженной и нестерпимо захватанной ласково-жадными руками стольких обладателей—тем более, что ни один из них, кроме Леона, не мог устоять перед судом ее презри-

тельного ума. Леон был такой же гордой и стойкой натурой, как она, сколько бы (как и она) ни валялся в грязи.

Она и он—только их двое и было в этом загаженном мире, откуда неслись ее песни к звездам.... Только их двое было в «золотом сосуде».

Но в тот бурный день, у подножия Козьей горы, когда она стояла на крыше рядом с молодым рыбаком, слушая вопли людской толпы, затопляемой ливнем... О, до сих пор еще в ее нервной ладони жило ощущение известки дымовой трубы, за которую она тогда ухватилась, а правая щека, правое плечо, вся правая сторона ее тела все еще хранили ощущение теплоты молодого, крепкого мужского тела, теплоты, какую-то мистическою дрожью передававшейся от него ей и проникавшей в самую глубь ее трепетного тела... Потом молодой рыбак исчез, но в тот день она чувствовала себя на некоторое время поднятой над своим обычным миром, над своим «золотым сосудом», вырванною из круга Леона и его присных, чувствовала себя просто беспомощным существом, готовым сдаться на волю другого существа в бурном вихре стихийной паники.

Они были разлучены... навсегда... и она соскользнула опять в свой узкий мирок, огороженный жадно тянувшимися к ней руками и показавшийся ей вдвойне узким и тесным после того, как на нее дохнуло могучим порывом ветра из свободного, буйного внешнего мира.

Усталость, отвращение овладели ею. И в гостинице в городе Духа начала она свои нервные обмывания, которых никто понять не мог. Среди ночи вскакивала она и принималась полоскаться, смывать с себя нестерпимые

объятия всех этих господ обладателей, которых перебивало у нее столько и от которых она все не могла избавиться.

С головы до пят, вдоль и поперек, чувствовала она себя загрязненной, свою нежную кожу засаленной их пальцами.

Леон прав был, насмехаясь на поминках:—Трагедия для гения родиться женщиной и отдаваться всяким недорослям.

Отвращение все росло в ней, и она не выдержала, убежала ночью, сделала свой выбор. О, недаром Мариорджия была гением! С необыкновенным чувством самосохранения нырнула она в самую глубину первобытной человечности своей природы и—обрела там себе негра. Он был совершенно вне всего и всех. Он так неуклюже тянулся к ней. С ним она, наконец, почувствовала себя ребенком.

Но академики не понимали ровно ничего из того, что творилось с нею. Не понимали и негра с его выдающимся, здоровым, коренастым, спокойным превосходством. Евангельские слова текли с его уст, словно там и родились; в эти слова не надо было вдумываться, достаточно было просто воспринимать их, сообразно тону; это были слова того евангелия, которого Мариорджия наслушалась в детстве, и оно горною странюю с белоснежными вершинами высилось позади всех тех болот и диких чащ, в которых она с тех пор погрязала и путалась.

В существе негра было что-то отечески-надежное, нечто от первобытного праотца самого человечества. Так,

пусть у него все тело обросло волосами,—Мариорджия пошла к нему, преподнесла свое беленькое, прелестное, трепетное тело его дикарской страсти и—успокоилась.

Курьерский поезд с грохотом мчался вперед.

О, как легко дышалось ей! Она порвала... порвала, сделала нечто новое и сама обновилась. Опираясь на сильную руку своего нового сказочного господина, она снова возвысится над всеми.

Они кочевали из собрания в собрание. Деньги так и текли к их ногам. Негр проповедывал, Мариорджия пела, и все новые, и новые паствы раскрывали перед ними свои двери.

И Мариорджия из человека стала сказкой, святой легендой, появлявшейся и исчезающей вместе с негром—распевая, проповедуя, улыбаясь, поедая шоколад... как бы витая над человечеством.

ТОРБИНА

«Надо подождать, подождать! Негр скоро придет!» Торбина улыбнулась сквозь слезы и опустила библию себе на колени. Она решительно не помнила больше, что когда-то он хотел ее с'есть. Во всей этой кутерьме событий, закруживших пожилую деревенскую девушку, одно только оставалось неизбылем: слово, драгоценное библейское слово, лежавшее у нее на коленях. Да, да! Условия земной жизни вообще шатки, ненадежны, но слово, слава богу, неизбылемо. Ибо это слово божие, собранное в красивую небольшую книжку, лежавшую сейчас у Торбины на коленях. Чего же было ей бояться? Она не очень-то много понимала в этой книжке. Не очень много смыслила и в жизни; не разбиралась ни в слове божием, ни в жизни. Но слово было неизбылемо, оставалось неизменным изо дня в день, и всегда лежало у нее ночью под отельной подушкой, от которой пахло чем-то чужим.

И негр был сеятелем слова. Он располагал словом. Он проповедывал слово, распространял слово. Пусть оно касалось самых непонятных вещей, он умел преподнести его в такой родной, знакомой божественно-высокопарной

форме, что старая дева Торбина чувствовала себя во всяком случае уверенной в подлинности слова. Все это было настоящим словом, драгоценным божьим словом. Ее могли смущать черное лицо негра, странная окраска его рук и ногтей, но стоило ему раскрыть рот,—она внимала слову и успокаивалась.

Итак, она ждала негра. Он был ее надеждой и упованием среди этого чужого, ненадежного, заблудшего мира...

Дверь отворилась. Вошел хозяин гостиницы, строгий, совсем изменившийся.

Всего два-три вопроса, два-три ответа, и она узнала ужасную, невероятную новость: негр уехал... Он, этот достопочтенный человек уехал... с Мариорджией!.. С этой истаскушкой, этой блудницей... ходившей по рукам!.. До которой она, Торбина, не дотронулась бы и щипцами! И бог попустил такой «особе»! Дал ей опомниться, спастись от гибели и обрести новую честь своим смирением, своим великодушным обращением на путь истины!.. Торбине смутно казалось, что все вокруг нее рушится... и что она больше ценила бы Мариорджию, если бы та осталась на своем неправом пути, а не стерла бы все границы своим дерзким прыжком на правый путь.

Но Торбине не дали времени поплакать и попричитывать. Хозяин положил на стол счет и потребовал уплаты.

Кому этот счет? Ей?.. Уплатить!.. У нее нет ни гроша!

Но ведь она вдова Александерсена?

Она... Она никогда не была замужем! Пусть обратится к академикам.

К академикам!.. Разве ей неизвестно, что они уехали?

Уехали!.. Леон? Княгиня? Статский советник?

Да, и Уриан, и Буриан, и Мельба, и Тюрко, и все, как их там звать! Все раз'ехались во-свояси, рассеялись на все четыре стороны несколько часов тому назад. И вот, хозяин пред'являет счет ей. Угодно ей уплатить или не-угодно?

Торбина взглянула на счет. Он был колоссальный! Каждый бутерброд, каждый поклон—все было записано! Каждый цветок, каждая серенада, каждая газета, каждая сигара... Комнаты, ванны, экипажи, комфорт и конфеты—все и для всех. Они все задолжали—эти жадные собаки, эти обжоры, эти лакомые свиньи, эти скупердяи. Вот они, люди, выбившиеся наверх с помощью своей жадности и настойчивости, вот они каковы!.. Лишь имени Леона не было в этом счете. Великая душа! Это тронуло ее до слез. Он так и сорил всегда деньгами. И всегда был так благороден и рыцарски вежлив с нею... Лишь один единственный раз она на него обиделась,—он рассказал ей, что большие военные корабли двигаются «Торбинами». Но потом она простила ему эту шутку,—он, ведь, был такой весельчак! А если и швырял деньгами, то своими собственными. Торбина и не подозревала, что Леон перед своим отъездом заложил чемоданы и саквояжи всей компании.

Остался только большой окованный серебром дорожный сундук княгини. Но она сама перед отъездом ножницами сорвала все серебряные пластинки, испортив ножницы. (Только интимные друзья княгини имели понятие о ее скряжничестве, единственном недостатке этой, вообще, столь высоко одаренной женщины).

Под вечер к гостинице подъехал экипаж с лакеем, который успокоил хозяина и рекомендовал ему послать все счета в город Духа, хозяину гостиницы «Многие обители».

Но Торбину уже давно с презрением выпроводили из гостиницы. И она, бедная, всеми оставленная, с библией в руках, обливаясь горячими слезами, бродила по улицам большого равнодушного города, хранившего теперь могилу Александерсена.

Вокруг нее кишели мужчины и женщины, господа и дамы. Но никому не было дела до нее, голодной и плачущей, с библией в руках. Вчера ее имя и портрет красовались во всех газетах, сегодня никто уже не помнил ни имени Александерсена, ни ее. С глаз долой—из сердца вон; таковы были все люди, подобно юношам и девушкам из города Молодежи. У всех на устах было теперь имя Мариорджии; говорили только о ней, да о негре.

Торбина попыталась поплакать на кладбище над могилой Александерсена. Но никто даже не обернулся на нее. Решительно никто больше не занимался ею.

Тогда она с'ежилась и присмирела. Всякая спесь скатилась с нее, как с гуся вода. Но, ежась, она в то же время становилась тверже и, сердито повторяя себе самой на своем деревенском диалекте:—Я хочу домой! Домой!—без устали шагала по улицам. Но увь! Так и не нашла выхода из этого запутанного лабиринта мирского. Наконец, когда уже зажглись фонари, она очутилась опять перед гостиницей, откуда ее выгнали. Это было единственное знакомое ей место во всем городе, и она судорожно цеплялась за него. Усевшись на уличную скамейку под

фонарем, одинокая и покинутая, как гусыня на лисьем острове, голодная и плачущая... И пока она сидела там, сапожник, отвергнутый ею с таким презрением, преобразился в ее представлении в лучезарный идеальный образ, который с самого ее детства озарял ее путь, но от которого она (непостижима, непостижима душа человеческая!) всегда отворачивалась...

И вдруг, сам сапожник со свистом пронесся над нею на своем ковче-самолете! Она вскрикнула, и он вскрикнул, и затем оба очутились в объятиях друг друга, прильнули щекой к щеке, ухом к уху. Минута, к счастью, оказалась для обоих самой настоящей, решительной, и вот, они обрели друг друга раз навсегда.

Двое полицейских кинулись было к ним, чтобы разнять их.

— Я хочу домой!—рыдала Торбина.

— Лети, лоскуток!—крикнул Александерсен, и ковер так стремительно взлетел кверху, что слово божие, трижды перекувырнувшись в воздухе, упало на голову одному из полицейских, а тот, увидав, что это лишь библия, яростно отшвырнул книжку в сторону.

Вихрем понеслись они в летнем ночном сумраке над гигантским каменным лабиринтом улиц, направляясь за город, туда, где в дымке тумана сонно колыхались нивы.

ПОЛЕТ

Торбина как бы переродилась.

Ее вялая душа прошла за последнее время через такие катастрофы, что ее тупое спокойствие было потрясено и раздроблено взрывами страха, ярости, унижения, разочарования и горьких слез отвергнутой нежности и преданности.

Плебейская толстокожесть исчезла, и овечье-тупое лицо облагородилось выражением духовной энергии и своеобразно-милой, теплой девичьей застенчивости.

Оба пылали, обновленные, помолодевшие.

Они пролетели над городом Смерти, перед самой колокольней. Как раз стали бить часы. Но их ужасный звон, прежде пронизывавший их жутью до самых костей, теперь заставил их только улыбнуться и крепче прижаться друг к другу. Они видели, как маршировали во мраке, без зрителей, апостолы, слышали лязг цепей механизма... и пролетели дальше.

Глубоко, глубоко, внизу, мерцала мягким неземным сиянием река Забвения, струясь по озарявшейся утренним рассветом местности.

Ранним утром пронеслись они над городом Духа... и над «вышей точкой жизни». Александерсен не мог удержаться от улыбки, глядя на гранитную скалу, на выдолбленную в ней пещерку—с тазом мыльной воды и привязной старческой бородой,—и на самую верхушку, где он когда-то нашел мелкую монетку и птичий помет... Быстро пролетели они мимо, сквозь ту самую пустоту стихий, которая тогда навеяла на него такой ужас. Теперь он летел, исполненный радости и невозмутимой уверенности, облеченный в новое, горячее и пышущее жизнью тело, сжимая в объятиях горячую и пышущую жизнью женщину...

Там внизу, копошились во прахе все эти жалкие холостяки и старые девы или бегали с фонарями, ища чего-то—чего и сами не знали,—распространяя панику, обивая с толку других, внушая им, что существует некая великая загадка, великая удивительная тоска... пока, наконец, все стадом не начинали шарить и отыскивать разгадку, объяснение этой загадки, этой тоски. Но сам Александерсен, прежде смотревший на простоватую, ограниченную Торбину свысока, теперь вглядывался в ее внутреннее «я», как в новое отверзшееся ему небо, откуда веяло на него теплом, преданностью и прелестью.

Он не раздумывал больше ни о жизни, ни о смерти, он только желал... желал порывисто и страстно обладать Торбиной.

Они летели над морем. Видели пароходы с пилигримами, которые, в погоне за мудростью, обезжали кругом

весь мир земной, как щенок вертится вокруг себя самого, гонясь за собственным хвостом.

Они летели над городом Плоти. Туман окутывал город и остров с огненной печью смерти, из которой непрерывную струю стекал в море пепел, как фарш из механической мясорубки.

Александрсена не тянуло даже взглянуть на город. Он играл пальцами Торбины. Она смеялась, разглядывала очертания его губ и приглаживала ему волосы. Оба молчали, молчали, как обезьяны, говоря на единственном настоящем, непритворном языке жизни—языке жестов, мимики и волнующейся крови, в подтверждение дивно прекрасных, глубоких слов, имеющих одинаковое значение и для четвероногих и для двуногих:

И могут двое снять скорбь друг с друга
взаимной лаской, касаньем рук...

Холодом дышали ледяные Козьи горы. Могучая и всевластная покоилась там природа с извечных времен, в объятиях света и льда, в сверхъестественном жутком величии, и Александрсен чувствовал, что они с Торбиной были лишь ничтожной крапинкой на светлом стекле, пролетая на своем ковре и прислушиваясь к смутному шуму и гаму на большой дороге жизни. Они летели так высоко, что поток человеческий внизу казался слетевшими на снег стаями перелетных птиц, плотными, крикливыми вереницами, стремившимися к жизни, теплу и свету. И будничные, скучные проклятья и крики, вопли и брань

людей походили издали на дикие крики птиц, охваченных паникой ночного перелета.

На вторые сутки полета Александрсен зашел в лунном сиянии колоссального Будду, окруженного сонными пальмами и спящими улицами и переулками.

Они спустились в этот уютный город на берегу теплого моря. Напились воды из ручья, набрали фиников под пальмами и, переночевав в своей старой хижине у ног Будды, проснулись от ярких лучей утреннего солнца и от шума обезьян и попугаев, сами сияющие и опьяненные счастьем здоровья и поздней любви, почти по осеннему зрелой и жгучей.

Снова понеслись они на ковре над лесами и гремучими потоками, над пустынями и дикими лесами.

Глубоко внизу, под собою, видели они волков, руины храма и волчьи логова... С бьющимся сердцем каждый из них глядел туда, за край ковра, молча предаваясь своим мыслям.

И вдруг оба вытянули шеи: они увидели Новый поселок с общинным домом молитвы. На дверях была новая блестящая щеколда! Новые идеи победили! Жизнь восторжествовала над учением!

Низко пролетели они над постоянным двором «Вифлеем». В дверях стоял победитель, смелый молодой кантор, принявший двор после старого хозяина. Нильс и Ганс как раз провожали на задворки гостя, а девушки таскали в ведрах кипятка...

Стремительно пронеслись они над крышей и полетели над пустынями и равнинами, над морем, над тем же

безжалостным, неумолимым, бесконечным морем... Но какая разница во всем против первого полета!

Тогда—враждебные друг другу, холодные, строитивые летели они в таком густом тумане, что почти не различали друг друга, летели в неизвестную, сказочную даль...

Теперь—рука об руку, горячие, пышущие здоровьем и любовью, освобожденные от пустых, лишних иллюзий, сами здоровые и сияющие жизнью, они летели домой, на свой будничный островок, с жаждою начать новую теплую и плодотворную жизнь прежде, чем наступит для них осень.

Торбина умолчала перед сапожником о том, что она пережила с портным, но и портной умолчал перед Торбиной о том, что это он сам в образе сапожника. Он знал, что метафизические размышления плохо укладываются в ее голове. Таким образом, оба они смотрели друг на друга сквозь дымку тайны. Но что же! Из дому отправились они в тумане и домой возвращались в тумане! Должно быть, и не следует человеку так тесно сливаться с другим, чтобы между ними не оставалось дымки тумана. Но душа Александерсена была теперь так насыщена свежим юмором сапожника, что ему и в голову не приходило серьезно задумываться над подобными вещами в то время, как они летели над морем на зыбком ковре.

Наконец, наконец!.. Сердца их шибко забились: почти уже ночью завидели они всплывший из моря островок, блаженнейший из всех знакомых им островов!

Над ними мерцали звезды, под ними темнели домики.

— Спустись, лоскуток!—крикнул Александерсен, ликуя, и стиснул руку Торбины... И ковер со свистом спа-

нировал над верхушкой грушевого дерева, как раз когда прачка, в одной рубашке, бежала по двору с крынкой молока для пастора.

Они спустились перед самым домиком портного. И как описать их радостное удивление: ключ по-прежнему висел на гвоздике у входа, а на двери была прибита вывеска «Танцора» с надписью:

«Сапожник Наполеонсен».

САПОЖНИК

Александрсен стал сапожником!

Он вставил свой старый ключ в замочную скважину и вошел в свой старый дом вместе с Торбиной, своей старой домоправительницей, с честным намерением провести весь остаток своей жизни веселым и дельным сапожником.

Он уехал, задыхаясь от тоски, от желания найти, обрести что-то, чего ему не доставало и к чему он страстно стремился всем своим измученным существом.

Теперь он вернулся румяным и загорелым, десятью годами моложе, но с некоторым запасом иронии в душе: ведь он вернулся в ту же обстановку, в какой прожил всю жизнь, работая в своей мастерской рядом с кухней, где хозяйничала Торбина. Он об'ехал кругом света, и оказывается, что он только гонялся за собственной своей ключницей!

Он мог бы найти ее сразу, стоило ему только отворить дверь и позвать: Торбина! Так нет, понадобилось об'ехать кругом света, вместо того, чтобы просто перейти из одной комнаты в другую!

А еще слыл умницей, умнейшею головою в городке.

Да, но его тело было засушено, никуда не годилось, а тело ведь добрая половина ума,—говорил Уриан. Оно всегда лучше осведомлено обо всем.

У сапожника была хилая душа в здоровом теле. Вот почему он и погиб. У портного был здоровый дух в хилом теле. Вот откуда брались его заблуждения.

Лишь когда хилая душа сапожника забралась в хилое тело портного и вместе с ним отправилась к чорту, а здоровая душа портного вошла в здоровое тело сапожника, так что получился здоровый дух в здоровом теле—наступила полная гармония, и, как по волшебству, сгладились все телесные недостатки сапожника и душевные портного.

А Торбина была и счастлива, и сконфужена. Люди станут говорить, что она сбежала с портным, а вернулась с сапожником!.. В действительности, она любила сапожника, а сбежала с портным, но, в конце-концов, развязалась с портным и заполучила сапожника—на самом же деле все-таки осталась с портным.

Но последнего обстоятельства она, к счастью, не знала.

Душу ее наполняло теплое, благодатное чувство счастья, затопившее все ее стародевичьи соображения о том, как и когда полагается поступать, говорить и думать.

Она поступила просто и непосредственно, по наитию, согласно своей здоровой, смелой натуре, следуя за сапожником по старым комнатам, как «гость в персти», но не зная этого и не нуждаясь более в книжной премудрости и в изречениях на кофейниках,—теперь она была здорова,

и ей больше не нужны были ее прежние духовные ко-
стыли.

На следующее утро они проснулись, как новообращенные. Зяблики чирикали и распевали в саду, а вскоре весь дом наполнился поздравителями... Пришли все—и звонарь, и муж повитухи, и прачка, и все, все милые, старые знакомые лица.

В саду сверкала статуя портного—долговязого, знаменитого портного.

— Вяленая обезьяна!—смеясь крикнул сапожник с такою веселою искренностью и с таким авторитетом, что все вздохнули свободнее и тоже расхохотались.

Ведь сказать по правде, они никогда ничего не понимали из разглагольствований портного, но когда сапожник впоследствии на вечеринках, отплясав с Торбиной, рассказывал им о Леоне Ахиллесе, Мариюрджии и Александерсене, они сразу понимали все и дивились одному—как поумнел сапожник.

А для него всего забавнее было прочесть брошюрку Горбуна, описавшего «Жизнь Александерсена». Три издания ее были уже распроданы.

Особенно чувствительно написана была последняя глава—прощание Александерсена с родным городом. «Ласково простился он со всеми трогательною и грустною речью, и последним его орошенным слезами словом было, что он дарит своему дорогому другу Горбуну семь белых уток».

Девиз Александерсена Горбун сначала передал так: «Дух во прахе», а во втором издании: «Душа в персти»,

полагая, что так оно выходит еще непонятнее и, стало быть, приемлемее для набожных душ.

В третьем издании над головой Александерсена парил белый голубь. В четвертом он исцелил трех невинных младенцев. В пятом детей стало пятеро. В шестом к детям прибавились матери, и кроме того, Александерсен извлек золотой из хвоста кошки и подарил его старому нищему с обмотанными тряпичей пальцами.

«Жизнь и подвиги Александерсена» мало по малу разрослись в целое евангелие, которым пользовались, как оракулом, когда надо было погадать о чем-нибудь, хотя бы о погоде, и Горбун таким образом с течением времени стал состоятельным человеком и схиоронен был со всякими почестями.

Но, как две полузавядшие розы, побывавшие под освежающим дождем, чувствовали себя обновленными, возрожденными после долгого путешествия Александерсен с Торбиной.

Александерсен отделался от своего болезненного пристрастия к героям и лишь теперь мог по настоящему смаковать едкие и буйные песни Леона Ахиллеса, остроумные романы княгини Катт, глубокие мысли Уриана и передавать, истолковывать их другим.

У Александерсена с Торбиной родились дети, много детей, здоровых и жизнерадостных. Отличительными чертами их были упорная самостоятельность и постоянная радостная готовность помогать другим.

У них у всех были крепкие головы и тела, и все они выходили либо сапожниками, либо портными,

Торбина настаивала было, что мальчиков с их умом следует учить кое-чему побольше,—пусть выбьются наверх.

— Наверх!—говорил Александерсен:—Пусть мухи да мыльные пузыри летят кверху! Будь между сапожниками да портными побольше умных голов, «мир» стоял бы немного потверже.

— Но ведь это такое ничтожное положение,—говорила Торбина.

— Ничтожное!—возражал Александерсен.—Сколько ни тянись кверху, ходить то все-таки будешь по земле. Выше не прыгнешь. А пока приходится ходить по земле, нужны и сапожники шить обувь. Да не встречал я что-то и таких воздушных пророков, чтобы обходились без какого ни на есть одеяния для своей земной оболочки, а, стало быть, и без портных!

— Но ремесла-то эти не очень уважают,—говорила Торбина.

— Так начни первая уважать их побольше, и пусть мальчики наши не слышат никакого такого вздора и причтаний.

— Да, да,—соглашалась Торбина,—но ведь надо же считаться и с тем, что другие думают.

Александерсен весело таращил глаза. Все его земное странствие проходило перед его взором.

— Другие!—кричал он, и на глаза его навертывались слезы не то презрения, не то восторга:—Мои мальчуганы не топчутся в стаде и не берут своих мнений напрокат у других. Не так ли? А, стало быть:

кто же: сапожник
или портной?
Или портной
или сапожник?

Вот в чем весь вопрос!

Торбина смеялась, целовала его и уходила в кухню.
И мальчик выходил сапожником.
Или портным.

Перевела с датского *А. Ганзен.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие А. Ганзен	7
Книга первая	10
Портной	13
Интермеццо. О провидении и прочая болтовня	21
Сукно	28
Отбытие	33
Между небом и землей	38
„Гостиница Вифлеем“	42
Среди новопоселенцев	47
Мораль и чистое учение	53
Развязка	56
Людоед	62
Бегство	67
В звериной шкуре	74
Пробуждение	77
Книга вторая	83
Где шелестят пальмы...	85
Вывеска	93
Александрсена открывают	98
Праздник Леона Ахиллеса	109
Страстие	116
Живой розовый куст	123
В руках правосудия	130



Среди молодежи	142
Большая дорога жизни	156
У подножия извечных гор	171
Город плоти	184
Праздник весны	187
Услады плоти	191
На плоской кровле	196
Гиацинта	199
От'езд	205
„Ковчег“	209
Город духа	218
Многие обители	225
С глазу на глаз	229
Вечность	244
День из дней	251
На пути к городу смерти	259
В городе смерти	267
На колокольне	272
Великие призраки	281
Река	291

Книга третья	301
Прибытие	303
Владыки и господа мира	308
Среди властителей	312
Ночью среди духов	323
Портной	330
Сапожник	336
Дальнейший ход судьбы	342
Новая жизнь	347
День скорби	354
Разрыв	360
Торбина	365
Полет	370
Сапожник	376